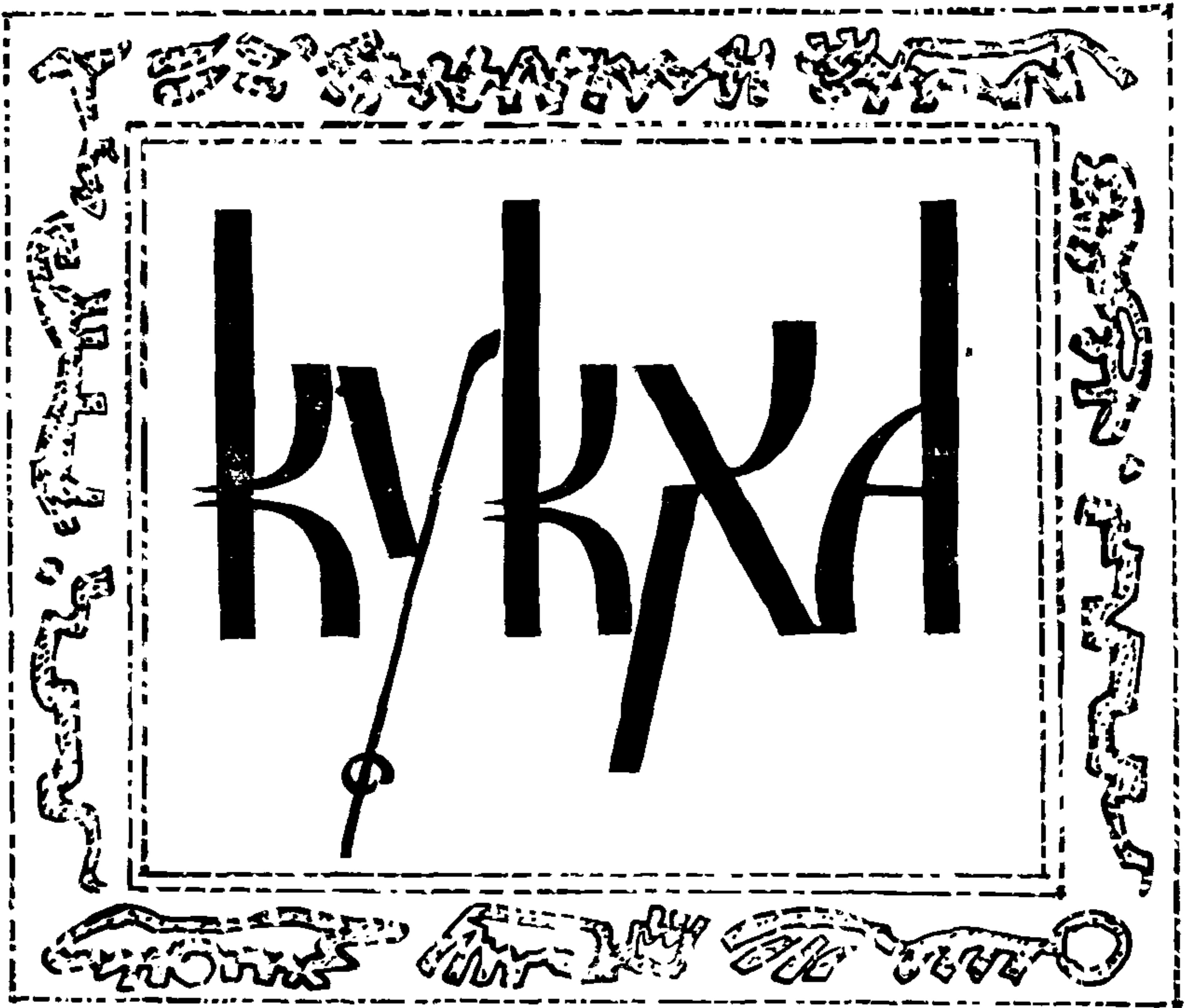


Алексей Ремизов



Р
РОЗАНОВЫ
ПИСЬМА

Алексей Ремизов

КУКХА

РОЗАНОВЫ ПИСЬМА

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

НЬЮ ЙОРК 1978

KUKHA. Rozanov's letters.

by **ALEKSEI REMIZOV.**

Introduction by Prof. B. A. FILIPOFF.

Second edition.

* * *

First edition, Berlin, 1923.

* *

Editor-Publisher G. D. POLIAK

©1978 by **SILVER AGE**

All rights reserved.



Published by
SILVER AGE
NEW YORK 1978

ДРЕВО ЖИЗНИ ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

«Люди мои, братья мои, я прожил весь в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много понес на себе. Вот что: любите жизнь. Любите ее до преступления, до порока. Все — к подножию Древа Жизни. Древо Жизни — новая правда, и это одна правда на земле. И до скончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни. Его Бог насадил. А Бог есть Бог и супротивного наказует. Только его любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идолов. Жизнь — в самой жизни. А выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг. Ибо в Древе Жизни — Бог, Который насадил его для земли. Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают Древа Жизни, разделяясь на партии, союзы, царства, школы, когда всего этого нет под Древом Жизни, и это оскорбляет собою Древо Жизни».

Так писал Василий Васильевич Розанов о Константине Леонтьеве («Новое Время», 23 февраля 1917).

И, тоскуя и печалуясь, сомневаясь и все-таки надеясь, через много лет, через годы, протекшие в голодном и холодном безлюбье изгнания, отвечал ему в своей книге «В розовом блеске» его давний приятель — Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957). «Василий Васильевич! Ваша мечта, новая правда: жизнь, потому что вы прожили свою жизнь в тоске и неудаче. Но кого вы сунете под ваше Дерево в беззаботное зеленое человечество?..»

Не везло обоим: умнейшему и даровитейшему писателю русского XX века, про которого Осип Мандельштам говорил, что он один из всех русских писателей понял, что русская культура, русская история идет по-над самым краем обрыва в бездонную бездну «и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова. Из современных русских писателей живее всех эту опасность понял Розанов, и вся его жизнь прошла в борьбе за сохранение связи со словом, за филологическую культуру, которая твердо стоит на фундаменте эллинистической природы русской речи» Слово и Древо Жизни были для Розанова нераздельны — и нераздельно-неслиянны. Как мало кто, ненавидел он болтунов-политиканов, и политиков считал всю жизнь самым последним сортом людей. И как только ни обзывали Розанова! И как только ни издевались над ним за его богопочитание Эроса! А он воспевал всю свою жизнь цветущую жизнь библейских патриархов, кочующих со своими женами и наложницами, бесчисленными здоровыми детьми и плодовитыми стадами по залитым солнцем просторам Передней Азии. Древо Жизни — Плоть — Радость жизни. И слово — не запечатляющее даже, а заклинающее эту Жизнь.

И всю свою печальную, бедственную жизнь боролся с омертвлением слова, с его обездуховлением Алексей Ремизов. И бедствовал не в аллегорическом, а самом прямом смысле этого слова: «Мы всегда были богаты бедностью», — жалуется он («В розовом блеске») и — в письмах, и в этой вот книжке, что перед вами: «Трудно мне было выбиваться в "писатели". И хоть других уж навастривал (А. Н. Толстого, М. М. Пришвина), а самому приходилось околачиваться в "Скетинг-ринге", во "Всемирной Панораме", да и то стараниями А. И. Котылева, действовавшего в выкочтачивании авансов не только убеждением, но, как узнал я потом, и мордобоем». Этот вот Кот-и-Лев, как перекрутил его имя в своих полуавтобиографических рассказах Ремизов, часто помогал бедствующим Ремизовым до революции, вырывая еще похуже, чем мордобоем, для них заказы и авансы в мелких редакциях. А был Кот-и-Лев мелким газетным репортером, но будем ему благодарны: поддержал он одного из значительнейших писателей нашего века — и

огромного мастера слова. Вот, понимал же его — и получше редакций «Аполлона» или «Русской Мысли»!

«Серьезные» журналы не печатали: какие-то, мол, закруты слов, не то фантастика, не то мир, увиденный не так, как видят все, а «подстриженными глазами». И время-то, и слова-то в его вещах не те — ну, как обратная перспектива старых икон или миниатюр — и новых сюрреалистов «Для читателя, мол, непонятно» Подавай читателю привычную и обычную жвачку — ему только и остается, что проглотить разжеванное, до предела и до скуки разъясненное.

«Я теперь только это узнал, я это представить себе не мог. Подгоняй время! Когда я пишу, нет чувства времени...» А как часто у Ремизова не наше трехмерное время, а больше того: память б у д у щ е т о. Или — время во сне, сновиденное, не наше. Но разве не наше? Ведь во сне-то мы как раз сами наедине с собой, мы в снах — сами по себе.

Вот: и не верит окончательно Алексей Ремизов в Древо Жизни: ну, кого же под него посадить? А где-то нутром и верит: «...про меня пошло — "человек человеку — бревно". А я в жизни видел и вижу не одно только бревно. В моих рассказах "дровяной двор" оставит память, а мне хотелось бы оставить память о горячем сердце, о внимании, о милосердии!» — вот с такой памятью хорошо бы и под «Древо Жизни»!

Хорошо, что вспомнили Ремизова. Да еще в год, когда исполняется 100 лет со дня его рождения — и двадцать со дня смерти.

Хорошо, что вспомнило о нем новорожденное издательство книжкой переписки с Ремизовым. Переписка двух больших, очень больших писателей и людей А какими мастерами слова — не только в своих произведениях, но и в своей переписке были оба!

И оба — по-разному. Говорок, иной раз с пришепетываньем — мы ведь свои: чего стесняться! — иной раз с поплевываньем в сторону, но всегда прямо в цель, в самую точку, — у Василия Розанова. И всегда ВОСКРЕШАЮЩИЙ СЛОВО. Поиски совсем необычного, но абсолютно незаменимого никаким другим слова, пусть из дьяческих книг или разрядных столбцов 17-го века, пусть заново сотворенного, но никем неисхоженного. Незадолго перед смертью он писал автору этого вступительного слова — по поводу книж-

ки его рассказов: «Вразумительно вы пишете: и страдание, и краска, и своя беда. Какого еще мастерства! Попробуйте подбрасывать и перевертывать слова. Это оживит нашу книжную речь...». Ремизов так удачно «подбрасывал и перевертывал слова», что речь его сразу же казалась не чем-то написанным на бумаге, а живым устным рассказом блестящего разговорщика. И была при этом живописной и пластичной. Ремизова, как, впрочем, и Розанова, лучше всего читать не про себя, а **ВСЛУХ**.

Как всякий поэт-разговорщик, от Гомера и наших скоморохов и сказителей и до наших современных бардов-песенников, Ремизов гиперболизирует отдельные элементы словообраза: он ищет наиболее яркое, характерное, и потому, как он говорит в предисловии к этой книжке, предпочитает карикатуру, как заинтересованную в предмете изображения, не безразличную к нему.

Но и Розанов — маг слова. Не только певец плоти и самообычной жизни. Кто мог сказать лучше, чем он: «Стиль есть то́, куда поцеловал Бог вещь». Но, владыка и мастер слова, он, как и Ремизов, одинок и несчастен: «Бог послал меня с даром слова и ничего другого еще не дал. Вот отчего я так несчастен». Часто Розанов и гиперболичен. Карикатурно-выразителен.

Человек с оригинальнейшим даром слова должен быть одинок и несчастлив. Он обречен на непонимание или — еще хуже — полупонимание.

Перед нами — переписка двух владык и мастеров слова. Двух оригинально мыслящих и своеобразно говорящих.

«...человек к человеку,
лицом к лицу...»

Борис Филиппов

РОЗАНОВЫ ПИСЬМА

В. В. Розанову

*Это я вижу, Василий Васильевич, эту Кукху —
Все, что возможно пока, записал лунной крещенской
ночью. А „Завитушку“ потом — ее здесь уж на
Lessingstrasse. (Где-нибудь, верно, сам Лессинг жил не-
подалеку — вот места-то какие!)*

*Есть у меня две карикатуры на вас: одна из „Сати-
рикона“, другая из газеты какой-то. Я бы приложил
их сюда, да не знаю уж: нехорошо, говорят.*

*А по мне. ведь лучший портрет тот, где карикатурно,
а значит, не безразлично.*

*В одном японском журнале поместили карикатуру
на меня вместо портрета и без всякой оговорки. И
ничего получилось: чудно, а все-таки живой, не то что
в паспорте фотографическая карточка (Lichtbild — по
немецки.*

*У меня, Василий Васильевич, желтый паспорт! —
за „Табак“ мне, должно быть, такое.*

Судьба-то, как не прячься, а настигнет.

Ну, прощайте!

*Помните когда там, в надзвездье-то, Алексея и
Серафиму. жить очень трудно нам на любимой-то
земле — и придумать не знаю что и не сообразиться;
одна надежда — чудесным образом.*

8. 6. 23.

Берлин

Читатель, не посегуй, что, взявшись представить Розанова через его письма к нам, рассказываю и о себе, о нашем житье-бытье.

Иначе не могу. нельзя говорить о птице, не помянув леса и поля, и о рыбе, не говоря о море, речке или пруде.

Человек измеряется в высоту и ширину. А есть и еще мера — рост боковой. Об этом часто. Но без этого Розанов — не Розанов.

О Розанове все можно говорить —

«он уж не знает страха смутиться перед людьми».

И надо. Розанов один — сам по себе — на своей воле

Хочется мне сохранить память о нем. А наша память житейская, семейная, — вот в ней ни философии, ни психологии, ни точных математических наук.

Время действия: 1905—1911 г. И, как заключение, 1917 г. От революции до революции.

Пятилетие — 1912—1916 — очень важное для Розанова: болезнь Варвары Дмитриевны. В эти годы я почти перестал выходить на люди, и видались мы редко, но дружба наша сохранилась до последнего дня.

КОЛОНИЯ

В январе 1905 г. с нас было снято запрещение Москвы и Петербурга и в феврале мы переехали из Киева в Петербург.

Прямо на место в редакцию «Вопросов Жизни» в Саперный переулок: я — заведывать хозяйством.

Нам дали две комнаты в редакции с освещением и отоплением и 40 руб. жалования.

В редакции, кроме нас, поселились Чулковы — Георгий Иванович и Надежда Григорьевна. Г. И. Чулков — секретарь редакции.

Хозяин наш, издатель «В. Ж.» Д. Е. Жуковский, замечательный человек, философ, микробиолог, обуянный двумя страстями: купить имение и жениться, впоследствии и женившийся на поэтессе А. К. Герцык.

Год 1905 я ничего не писал, отдавшись своему званию завхоза или домового, как тогда это называлось.

Чай подавался самый китайский, самый душистый и сколько хочешь, и гонорар писателям, как

и по типографским счетам, выплачивался моментально в день выхода книги, и лист был не топерешини мародёрский — сорокатысячный! — а в 30.000 букв, и корректура посылалась аккуратно и точно, как в немецких издательствах, в двух экземплярах с оригиналом, и барышни — конторщицы не жаловались, и типографицы А. П. Монтвид и брошюровщик Н. К. Константинов были довольны, и мальчики — Матвей и Тимофей, по современному курьеры, бегали по редакции и в лавочку, как на коньках, и было легко и весело.

Посетовал I. А. Давыдов, автор «Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?» — в его рецензии на книгу Рожкова везде было напечатано не Рожков, а Р о з и к о в.

Почему-то подумали, что это я тут что-то.

А ей-Богу ж, в рукописи «Ж» показалось на борщикам за «ЗИ».

Г. Н. Штильман, писавший «внутреннее обозрение», благороднейший человек, заступался за меня. Да и I. А. Давыдов, по Вологодской нашей намяги, скоро пересердился.

Всякий день с 8 часов утра и до позднего вечера ходил я по хозяйству в счетах, расчетах и разговорах, да и так, где меня совсем не требовалось, с писателями, которые ждали Чулкова по делам редакции.

* * *

В первый весенний день, когда с моря дыхнуло теплом и по всему Петербургу закапало с крыш, в час, когда расходиться, я вышел зачем-то на чулковскую половину в редакцию и вдруг услышал необыкновенное оживление в прихожей: кто-

то, целая ватага вломилась — ряженые? — или что-нибудь диковинное?

И сразу же смех и голоса.

Я выскочил посмотреть.

Час был сумеречный, но электричество еще не зажигали, и я разобрал только.

в крылатке (конечно не в крылатке!),
с проселью рыжий, очки, а нос, как
картофель.

А вокруг — и откуда набралось? — все, кто был в редакции, и конторщицы и совсем случайные, зашедшие по делу

Он что-то говорил быстро и руками грогал

И все смеялись.

— Розанов! да это ж Розанов Василий Василиевич!

И я подошел и совсем так, ничего над собой такого не выделявая.

— Рóзинов — Рóзинов! — знакомился В. В.

И продолжал разговаривать с необыкновенным сочувствием, спрашивал о самых таких вещах личных. И видно было и чувствовалось, как принимал к сердцу — совсем не безразлично, совсем не для слова.

— Рóзинов — Рóзинов! — знакомился В. В., выговаривая Розн, не Роза, в противовес семинарскому крепкому Розанов

И сейчас же с незнакомым начинал самое как в долголетнее знакомство, о самом, о чем обыкновенно считается просто неприличным спрашивать

И это и потом заметил, что Розанов подходит прямо к человеку — к тебе, прямо смотрит на тебя, и никогда не замечая глаз, а только или грудь, или «нижний эгаж», или руку принимает в тебе всего тебя до канатика

И это страшно располагало отвечать также прямо и доверчиво безо всяких, это отбрасывало

всякие перегородки, всякие условности, изобретенные людьми злыми или очутившимися в злом подозрительном мире

Розанову было до тебя дело.

А ведь это такое — ведь, никому ни до кого нет дела!

О Розанове разнеслось по дому.

И сейчас же появился Н. А. Бердяев — Бердяевы жили под редакцией.

А тут под'ехал с Мыгнинской набережной и сам Д. Е. Жуковские.

Впрочем, «сам» испокон веков у петербургских швейцаров считался П. Е. Щеголев, куда бы он ни заходил по делу или для развлечения.

В «В. Ж.» лежали на складе Розановское «О понимании» и «Семейный вопрос».

О них и зашел Розанов навеститься.

И с этого дня редкое воскресенье, чтобы не были мы у Розановых на Шпалерной, и не было недели, чтобы не заходил Розанов к нам в «Колонию».

* * *

Многоуважаемая

Серафима Павловна!

Посылаю Вам письмо к Петерсу; простите, что опоздал, знаю, но страшно был занят. Поклон всей Вашей колонии и всю ее жду в воскресенье. Поклон и от жены.

Ваш В. Розанов.

Прием у него ежедневно от 1—2 часов, кроме среды и воскресенья; следовательно нужно

просить или в эти часы, или (я думаю)
утром до 9-ти часов; в 9 он уезжает
Я написал ему подробно о Вас и лучше
всего Вы с моим письмом пошлите
ему свою визитную карточку: он
выйдет и назначит час, когда придет.

1905.

МЕДАЛЬОН

Многоуважаемая

Серафима Павловна!

К сожалению у меня нет проси-
мых Вами книг а где достать их
я тоже не знаю .

Ваш искренно В Розанов

1905.

* * *

Жизнь человека красна не одним только пьян-
ством

Но это не всякий дурак понимает.

В Германии есть старый обычай на Рождество
дарить книги . И нет тут дома, где бы не было

книги. Правда, «хозяйки» держат их в шкапу в коридоре.

У В. В. Розанова было много книг и хорошие книги.

И старые редкие издания.

И первопечатные (шкуннаболы) в белых свиных переплотах.

И любил он рассказывать, как эти все драгоценности к нему попали —

еще тогда в Москве на Сухаревке покупались на последние.

Книга и Розанов —

заушники его очков зацепились за корешки, корешки приросли к полкам.

В воскресенье какой-нибудь гость догоспный, смотришь, уж ходит по стенкам — стирает носом пыль с полок.

Старых книг заветных В. В. не давал, а новые брали — их было всегда много, неразрезанные. В В. этих книг не читал. Но всегда внимательно слушал, если рассказывали. И даже писал: как то, наслушавшись об Арцыбашевском Санине, в статье «семейной» упомянул о новом писателе Санине написавшем роман «В лугах».

! * *

Был у нас В В в «Колонии».

Народу всегда много бывало.

А когда народ, ни с кем не успеешь толком слова сказать: все слито и цепко, гул и всегда роняют

Уж перед самой дверью В. В. подошел к С. П.

И вдруг увидел у нее старинный медальон.

Что это у вас в медальоне?

С. П. отвела его в сторону.

— голова львова, сера, космата, с огненной
пастью в поле блакитном.

И раскрыла золотые хрупкие створки

там карточка и волосы.

В. В. смотрел близко — такой у него был вид
в ту минуту, как будто старинные монеты и
Египет перед ним вдруг.

И с тех пор: придет, бывало, в редакцию и
к нам в комнату нашу непременно заглянет без
всех.

И с тех пор давал С. П. все книги, и заветные

— Когда вы мне показали медальон, как я вас
сразу и полюбил. Какое доверие: отвела в сторону
и показала!

И это он не раз поминал и потом.

НА БЛОКНОТЕ

1905.

18. 9. узнаем вдруг, что наш дом стоит на кладбище. Вышли посмотреть; а у самой двери могила вырыта. Мы бежать: кресты — памятники — кресты. И опять в дом вернулись. Заглянули в окно — а напротив огромный крест кипарисовый.

19. 9. чуть брезжит. Лягушка квакает. Из соседней комнаты? Откудова?

ква-ква

20. 9. едем лесом Вязко. Мой возок провалился в трясины. И я по шейку в воде. Карбкаюсь.

21. 9. «33 белых попа», — такое есть общество. Собираются иногда в редакции. И вот во время собрания багюшка один вышел в коридор. Просит: «покажите географию!»

Я его до уборной проводил и, когда он щелкнул, тут и я его тихонечко защелкнул. И колотился ли несчастный, я не слышал, да и никто не слышал. И только под утро и то случайно «по расстройству» — освободил его Г. И. Чулков. Это случилось как раз под 1 апреля. Я рассказал А. П. Карташову и Вяч. Иванову. Я не называл имени, просто сказал: «батюшку какого-то», а через неделю слышу уж, рассказывают о священнике Иване Павловиче, запертом в уборной на ночь.

И вот только сегодня, через шесть месяцев, раскрыта, наконец, моя мистификация о этом мифическом Иване Павловиче, которого я, конечно, никуда не запираю.

Среды у Вяч. Иванова.

Из новых: М. О.-Гершензон и Эрн. Гершензон, оказывается, пишет стихи! А Эрн какой-то весь просвечивающийся и очень белокож. Про П. Е. Шеголева я сказал какой-то незнакомой даме, что это и есть знаменитый Демчинский: предсказывает погоду. А П. Е., как известно, все, что хотите: и плавать умеет и на велосипеде учился, а насчет погоды нет, не может, но та-то, уверовала! Наблюдал за их разговором.

Были еще Мережковские. они только что из Константинопольского путешествия. Но турецкого в них ничего не заметно, как в Зинаиде Николаевне, равно и в Дмитрие Сергеевиче. З. Н. мне дала письмо В. В. Розанова: прошлое воскресенье они были у нас, и З. Н. подарила мне красную феску, расшитую золотом, очень красивая только маловата, а В. В. обиделся, почему она не ему?

* * *

Любезная, дорогая или как хотите
Зина!

Я с таким удовольствием читал «Тварь» и даже вот-вот готов был написать длинный комментарий! а Вы привезли феску не на ту голову. Голова эта — путанная, с психологией маленькой мыши на большом сыре, которая боится быть пойманною: а перед Вами был «добрын старый турок, чтущий Аллаха», и зачитывающийся восточной и западной (в стихах) Шехерезадою.

Поблагодарите Митю за милые-милые три письма. Я пред ним очень виноват.

В. Розанов.

* * *

22. 9. Был В. В. Розанов.

Рассказывал: когда он первый раз это сделал — ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйка, за 40 — так на другой день с утра он песни пел.

— Сижу и пою.

А так В. В. никогда не поет и никакого голоса.

Для памяти:

1) учитель Полетаев с видением соблазняющих его собак (расск. В. В.);

2) видение в психнатр. больнице: полная палата коров — коровы лежат на койках, задрав хвосты (расск. А. П. Зонова);

3) лавка Комарова и доктор Доминик Доминикович Кучковский (из воспоминаний В. В.);

4) между исповедью и причащением пал со скотиною! А это из Исповедальника (Чин исповедания), где есть и о падении с мравием, и о проч. из монастырской практики.

23. 9. Куплено: зеленый диван у А. С. Волжского за 10 рублей в рассрочку. Диван с просидкой.

24. 9. Был в «Нашей Жизни». Познакомился с В. В. Водовозовым, о котором много слышал хорошего от Шестова, — он точно паутиной обмотан. И еще с Н. П. Ашешовым: на нем жилетка в роде, как на Философове.

спички делаются из электричества,
селетки ловятся солеными.

25. 9. Были у Мережковских. З. Н. подарила мне лягушку об одной лапке.

Потом у Розанова.

Познакомился с П. П. Перцовым.

«В цветущих женщинах, — сказал В. В., — в их цвете выливается вся страсть, в сереньких же все внутри».

И тихонько из Опытов:

«летом после обеда прилег на диван в халате, замечтался, и села сюда муха и стала ходить, не согнал — ходит и ходит — —»

Л. Б. на это заметил:

— Кажется, полагается (он говорит в нос) две мухи?

Это для моей повести «О табаке».

26. 9. У Г. И. Чулкова в редакции В. Ж. (Редакция переехала на 7 Рождественскую, а мы отдельно теперь на 5-ой).

Читал Осип Дымов. Он изумительно представляет и особенно А. Л. Вольнского.

Познакомился с С. Л. Рафаловичем: его стихи в «Содружестве»; а похож он на принца Орлеанского. Был еще Леонид Семенов — этот, как олень.

27. 9. Сегодня Д. Е. Жуковский предупредил меня, что «В. Ж.» возможно и не будут на будущий год. А может, это и лучше — для меня: ведь я же за эти месяцы, кроме этих несчастных листочков, ничего!

28. 9. У Вяч. Иванова занимались спиритизмом. О. Дымов — играл в медиума. А я по плутовской части: и скреб, как кошка, и стучал, как чорт. Очень страшно.

Потом: кто как пишет?

В. В. Розанов сказал: когда он в ударе и неписанные листы так само собой не просохшие и отбрасываются, у него это торчит, как гвоздь.

— И ни один наборщик не разберет! — заметил О. Дымов.

30. 9. Умер проф. С. П. Трубецкой.

1. 10. На Покров был у нас Ф. К. Сологуб, Чулков и В. Е. Ермилов из Москвы, отец Чехова. Читал. А позже пришел В. В. Розанов.

«В минуту совокупления, — сказал В. В., — зверь становится человеком».

— А человек? Ангелом? Или уж — —?

— Человек — Богом.

Трагический случай: молодой человек, студент, кончил самоубийством из-за любви.

В. В.:

«Женщина влюбленному в нее, хотя бы и не любила его, а не должна отказывать!»

И был большой спор с С. П.

— Ты благородная, но не добрая, а я неблагородный, но добрый! — сказал В. В. ей.

2. 10. Хоронили Трубецкого. Несли на Николаевский вокзал. Демонстрация.

Вечером ездили к Ф. К. Солдубу на В. О. в училище, где он инспектором.

Ивановы, Сюннерберг, Чулков, Кондратьев, Зоргенфрей и, конечно, Василий Иванович (Коренев).

Я писал в альбомы передоновшину: брежу «Мелким бесом».

А когда возвращались домой, какая чудесная была ночь, тихий снег.

Прохохотал всю дорогу: такое выдумывается, не дай Бог!

3. 10. Была у нас Зинаида Николаевна и Т. Н. У З. Н. бывают минуты неподдельно детские. Как хорошо она выговаривает в сказке: «ам!» Играла на рояли. Мережковские собираются за границу.

5. 10. У Вяч. Иванова. Познакомился со Скитальцем и Юшкевичем. Какие они огромные! У Скитальца — голос-гусли, а у Юшкевича — хорошие глаза.

8. 10. Не забыть под Андрея погадать.

Одна, гадая, спросила у прохожего:

— Имя?

— Засравитяк.

Вот какое! Не нашел лучшего? Обиделась. А вышла замуж, и что же вы думаете, муж — ничего, одна беда, с животом мучается. Под Андрея гаданье самое верное.

10. 10. Приходил Н. А. Бердяев. И до чего он жизнерадостный. И в Вологде всегда с ним было весело. Пошли к Мережковским. А от Мережковских к Розанову стайей пошестовски.

(Это Шестов завел такое: если уж куда идти, так с дружиною.)

В. В. рассказывал за чаем заграничный случай: о преимуществе русского человека.

Были они все за границей — и Варвара Дмитриевна и все дети — Таня, Вера, Варя, Надя, Вася, и Александра Михайловна падчерица. И случился такой грех: захотелось В. В. в одно место, а как спросить и не знает. А Александра Михайловна отказывается, говорит, ей неловко. Да терпеть уже нет возможности, он под себя и сделал. Господи Ты, мой Бог, в отеле, брать белье отказались, хоть самой! А главное-то так стали смотреть все, что пришлось Розановым переехать.

А когда то же самое случилось и в Петербурге: не удержался и обложился, — с каким сочувствием отнеслись дома, прислуга. Сколько сердечности и внимательности.

Ведь это ж несчастье с человеком!

— И нет этой черствости.

11. 10. У Чулкова.

Новые:

Н. К. Рёрих — знает всю до-историческую историю, 200.000 лет смотрят через его каменные глаза.

Проф. Е. В. Аничков, автор «Весенней и обрядовой песни», ученик Веселовского: где кончается Рёрих, там начинается Аничков:

Теффи, сестра Лохвицкой, и Л. Е. Габрилович.

А из старых: С. Л. Рафалович и два молчальника — Блок и Н. П. Ге, внук художника.

12. 10. Первый раз видел желтый туман.

Желтый туман. На просыревшем асфальте зеленый листочек герани.

Какой-то очумел в желтом тумане, грозил на всю улицу:

— Сукин сын, прохвост, обормот, раз я сказал — верх совершенства!

Вечером приходил к нам П. Е. Щеголев и В. В. Перемьяловский.

«Всероссийская забастовка железнодорожных рабочих».

13. 10. Среда у Вяч. Иванова. Коновод Аничков. И бесчисленное количество новых. Разговор о событиях. Еще бы!

14. 10. 1/2, 8-го погасло электричество. На улице жуть и темь. Что-то будет завтра? Заколачивают магазины. Кухарки разносят «чудовищные слухи».

16. 10. У Розанова. Познакомился с Григорием Петровым. Ну и волос же у человека — кокос!

В. В. все сокрушается, вспоминая Шестова: помириться не может, что Шестов пьет.

А было так: приехал Шестов, повел я его к Розанову, и Бердяев, конечно (ходили стаями!).

А накануне пришел я Розанову, что обязательно надо вина:

«потому что Шестов без вина не может».

Вино было. Бутылка красного стояла перед Шестовым.

И мы с Бердяевым все выпили. А у В. В. осталось: без вина Шестов не может!

И вот в разговорах с гостями, вспоминая, все сокрушается.

— Ум беспросветный, все понимает и —

— И помимо всего вредно для умственных способностей! — сочувствуют гости.

17. 10. Все еще темь.

18. 10. Манифест о свободах.

19. 10. У Вяч. Иванова.

Новые: два старца — В. С. Мироллюбов («Журнал для Всех») и И. И. Ясницкий («Беседа»). Это будут новыше Юшкевича со Скитальцем! И Арцыбашев. Есть сходство с В. В. Водовозовым.

Все еще при керосиновой лампе.

«Завтра обещают пустить электричество», — так сказал Войтинский.

А В В Розанов вчерашний день в баню ходил!

20. 10. Приходили к нам Мережковские. Трогательно, когда они друг с другом речь ведут. Бесподобно представляет их В Ф. Нувель.

В Калише 18 октября на радостях по случаю манифеста качали при криках «да здравствует свобода!» — губернатора, полицеймейстера и охранников.

Тема.

«Как мы с Чулковым добивались конституции».

21. 10. У Бердиевых: Мережковские, Аскольдов, Карташов и Чулков. Рассказывал один из участников: когда у Казанского Собора запели «Вечную память», такое было чувство — подставил бы спину под нагайку и чтобы хлестали.

Видение: огромная иглолка, ушки — от земли до месяца, и надо в эти ушки канат вдеть.

23. 10. У Мережковских.

Папуганы.

Из газет: Случайно подслушанный разговор по телефону: «Приходите в трактир Парамонова, спрашивайте дворника с рыжей бородой, по 50 копеек на человека бить жидов и интеллигентов».

25. 10. Улиця Жабокриковка, а другая Ткачовка.

Когда я слышу о событиях — о митингах и шествиях, мне приходит на ум маркиз де Сад.

И у нас было бы ему что посмотреть:

«одной барышнёй убитой вбили в низ живота кол» (Томск).

«зажгли дом с демонстрантами: те, кто поспел, — на крышу, а крыша рухнула». (Там же.)

«грудных детей убивали и потом разрывали на части; взрослых сбрасывали с 3—4 этажа».

«женщинам распарывали животы и набивали в них перья» (Одесса).

А в Иваново-Вознесенске рабочего сварили в котле.

27. 10. Квасовар Корытов.

Купец Любов.

Экспроприатор Мишка Дутый.

29 10. Накануне были разосланы письма, получилось и в редакции «В. Ж.». В ночь ожидался погром.

По этому случаю собралась у Бердяевых и до рассвета дулись в короли.

Тема:

«Как мы с Бердяевым предотвратили погром».

30. 10 У Мережковских. Впервые знакомясь с «запрошенной» революционной литературой.

А я как-то устал и особенно от разговоров. И у меня такое чувство: просто ушел бы в лес!

31. 10. У Розановых

Проще всего привести к Розанову еврея. Спросишь по телефону, назовешь — никогда не откажет какое-то особенное пристрастие и любопытство к евреям.

И весь вечер проговоришь. И уж, конечно, ни с кем не спутает. А то бывает так ходит к нему человек каждое воскресенье и каждый раз В. В. с ним знакомится:

— Розанов

Я говорю;

— Да ведь он и прошлый раз был и позапрошлый!

— Я не виноват, что на всех похож.

В. В. тоже засел за Дебогория Мокриевича. И на митинги ходит. Очень ему все нравится: «много влюбленных!»

1. 11. Настоящая зима.

У Мережковских. Познакомился с Андриевским: он, мне кажется, и лето и зиму пледом ноги кутает, а курит сигары

Д. С. тоже курит сигары — после обеда

Философов подтрунивает — это все на счет революционной литературы, как Мережковские открывают Америки. А мне вспоминается из детских лет: гимназист агитирует среди курсисток:

— Кеннан-Ренан, что такое нравственность?

2. 11. Электричество погасло — и опять зажглось.
3. 11. Электричество погасло — и не зажглось.
«Вопр. Жизни» окончательно ликвидируются.
4. 11. «Не трудись Господи! ведь я недостойн, чтобы Ты вошел под мой кров» (Лук. 7, 6).
15. 11. Всякий день приносит новость и не проходит дня без события. Это и хорошо и не хорошо. Хорошо — интересно; нехорошо — дело не делается, все отвлекает.
Приехал из Вологды А. Маделунг — это наша живая Вологодская память. Не дождался один Каляев!
17. 11. Читаю записки Л. А. Волькеиштейн.
Теперь о Шлиссельбуржцах много разговору.
Щедрин (арест. 81 г.) вообразил, что половина головы у него пропала. Оставшуюся половину с одним глазом надо во что бы то ни стало спасти. А спасти можно, если не давать смотреть на нее. Он приделал себе шпоры, голубиные перья. И держался гордо, свысока. Шесть лет не выходил из камеры. А когда отворяли у него форточку, кричал: свежий воздух стал для него невыносим.

* * *

О ту пору создан был Комитет помощи заключенным шлиссельбургцам. Собирали посылки. Кто что хотел. Д. С. Мережковский дал свои сочинения. Зинаида Николаевна — духи. В. В. Розанов «Легенду о Великом Иньвизиторе» с надписью. Надпись по тем временам показалась нецензурной, и листок из книги вырезали. (В скобки ставлю зачеркнутое).

* * *

Что самое дорогое в Вас, дорогие Шлиссельбургские узники? Не планы ваши, не расчеты, не программа борьбы, которую выполните вы или не выполните — это зависит от истории — но то, что уже есть налицо, что достигнуто и факт ваше братство между собой.

Везде люди ссорятся, ненавидят, завидуют, везде партии, веры. Но когда я вижу русских людей в простых рубахах, в рабочих блузах, косоворотках, с умным задумчивым лицом мыслящего человека, — я думаю вот в ком умер «жид» и «русский», где нет рабов и господ, нет мусульманина и православного, нет бедного и богатого, нет дворянина и крестьянина, — но единое «все-российское товарищество». И когда я это вижу, то моих 50 лет как не бывало — я чувствую себя молодым, почти мальчиком, хочется играть

хочется читать ваши прокламации. Знаете ли, вы вернули молодость человечеству. И это уже не мечта, это факт, «на лицо». Переводя это психологическое наблюдение на (по) §§ политической программы, я сказал бы: во многих местах есть республика, в Аргентине, Соединенных Штатах, Швейцарии, Франции: но нигде нет республиканцев. Ибо республика — это братство, и без него, ей не для чего быть. У нас же под снегами России, в Москве и Вильне, Одессе, Нижнем, Варшаве — зародились подлинные республиканцы, — «живая (матер) протоплазма», из коей (слагается) вырастает республиканский организм. Я верю: вы уже скоро выйдете из тюрем. И тогда пронесите это товарищество с края до края света: ибо в этом новом русском братстве, без претензий, без фраз, без усилий, без самоприневоливания, природном и невольном — целое, если хотите, «свето-представление»: это — новая культура, новая цивилизация, это — Царство Божие на земле».

В. Розанов.

1906.

* * *

20. 11. Затевадается журнал «Факелы». Соединение декадентов с «Знанием». Это все Г. И Чулков мудрует. («Как мы с Чулковым добивались конституции»). Поладил ли, не

знаю. Говорил, что с той и с другой стороны должны быть сделаны уступки. Я, кажется, в числе жертвы с декадентской.

Приехал Мейерхольд. «Факелы» соединяются и с Мейерхольдом. Стало быть, и журнал и театр «Факелы».

Почто-телеграфная забастовка.

«Вопросы Жизни» кончаются.

Д. Е. Жуковский обещал подарить мне стол клеенчатый и стеклянный шкап.

В редакцию переезжает А. В. Тыркова.

25. 11. Ходил к Парамонову наниматься. Нет, дело не выйдет. Не гожусь я на службу. Завтра с письмом Д. В. Философова в «Государственный Контроль».

В Контроле когда-то служил и Розанов. Не весело вспоминает:

«Едешь, бывало, на конке наверху. А Вл. С. Соловьев в коляске катит. Нет, вы этого никогда не поймете, никогда, никогда!»

27. 11. Конечно, зря.

Звонил Философов: начальник на меня обиделся и за разговор, а главное за папиросу

«Так вы на службу смотрите, как на средство к существованию?»

«Да».

«А нам нужны чиновники».

29. 11. Вчера собрание «Факелов» Меня приняли. И повесть

К. А. Сомов и Е. Е. Мансер, — оба говорят по-петербургски.

30. 11. Собрание «Золотого Руна»: С. А. Соколов-Кречетов («Гриф»), Торватый («Искус-

ство») — это главные. А проч. — Блок, Сологуб, Мережковский, Кондратьев, Дымов и Бакст. Издатель же Н. П. Рябушинский, но его не было

3. 12. У Мережковских. Познакомился с Андреем Белым. Очарован. Безгрешный и чистый, — белый.

4. 12. Именины Варвары Дмитриевны Розановой.

— Сыт, пьян и нос в табаке! — вот как полагается.

Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финиш проглотил.

* * *

И всегда именины В. Д. справлялись весело

Много бывало гостей, и знакомые и незнакомые. Бывали Мережковские, Бердяевы, Ивановы, Тернавцев, Коноплянцев, П. П. Перцов, Е. П. Иванов, Б. А. Зак и с ним Д. А. Лутохин, Егоров из «Нового Времени» и батюшки.

Бывало, что именинные гости собирались не вечером, а с утра после обедни прямо к пирогу. И так за полночь: и обедали и отдыхали и чай пили и еще раз чай пили и ужинали.

Обыкновенно на именинах, когда полагалось, чтобы все честь-честью «по семейному», подымались самые непоказанные разговоры. Начинал, конечно, сам В. В. Розанов.

* * *

Ждем.

Серафиму Павловну и Алексея Михайловича без слонов, без зверей и без мифов, без «табаку» и вина 4 декабря в тихую обитель Б. Казачий д. 4 кв. 12

— вечером —

Смиранный перомонах Василий.

1908.

К письму: «вечером» -- в рамочке, сделанной пером.

«Табак» - это моя повесть «Что есть табак». В. В. Розанов любил ее.

«Слоны» — это «обладающие сверх божеской меры».

* * *

5 12. Познакомился с М. Г. Сущинским. Героический человек, дважды бежал из Сибири. Теперь по амнистии приехал из Парижа. Истории его сказочные. Пришел он к С. П., а ее не было дома. И весь вечер просидели мы на «волжском» зеленом диване за разбойными рассказами.

7 12. У Вяч. Иванова: Андрей Белый, Блок, Габрилович, Сюшнерберг, П. В. Безобразов. А. Белый изумительно читает стихи. Он не говорит, а поет — до самых до высоких нот:

пришел, пришел издаюка
скиталец из Женевы...

(Должно быть, это про А. Г. Барладеана! —
моя догадка.)

8. 12. Третья всеобщая забастовка

Электричество погасло

Приходил Е. Г. Лундбергъ: ходилъ он, как птица. Так птицей прошел весь юг России от Каспийского моря до Черного и все Балканские государства, вдоль и поперек.

Приключения его самые невероятные.

Только присутствие духа и находчивость спасали его от верной гибели.

9. 12. Приходил Б. В. Савинков — пальто на нем замечательное Дал 25 руб. «на бедность».

12. 12. В Москве четвертый день баррикады.

17. 12. Кончилось.

1906.

3 1. У Вяч. Иванова. Познакомился с Горьким. Какой умный и сердечный человек! Разговор о новом театре «вообще».

18. 1. Приехал Брюсов.

19. 1. У Сомова на Екатерингофском с Брюсовым. Сомов подарил мне обложки нот с тончайшим прифтом, а С. П. — узоры для вышивания бисером.

27. 4. Открытие Государственной Думы.

* * *

На бланке для поступления в кадетскую партию: «Ознакомившись с программой и уставом Конституционно-Демократической партии

(п. Народной Свободы), я прошу включить меня в число ее членов. Фамилия. Имя. Отчество. Адрес. И т. д.» На обороте адрес секретаря Рождественского Комитета К-д. партии А. П. Федорова. В примечании: «просят обозначить, чем именно желают быть полезным партии: привлечением новых членов, распространением программ и т. д.».

* * *

Дорогому Алексею Михайловичу и Серафиме Павловне Ремизовой с просьбой подумать, решиться и подписаться —

В. Розанов.

См. на обороте.

Подпишите и пошлите прилагаемое: 1 к. марка.

1906.

ОБЕЗВЕЛВОЛНАЛ

В. В. Розанов был старейшим кавалером обезьяньей великой и вольной палаты.

Обезьянья палата возникла в 1908 году, когда я писал «Трагедию о Иуде принце искаротском»: обезьяний цар Асыка, действующий в трагедии, награждает обезьяньими знаками.

А сама мысль об обезьяньем знаке вышла из игры.

Проездом в Петербург каждую осень мы останавливались в Москве. Из писателей в Москве об эту пору встретить кого было не так просто, все раз'езжалось по всяким Малаховкам. И я играл с своей маленькой племянницей Ляляшкой (Елена Сергеевна Ремизова).

Надо было чего-нибудь особенно придумывать.

Она приставала ко мне сделать ей такое, чего ни у кого нет.

Вот тут-то я и сделал ей обезьяний знак «для ношения тайно».

Этот знак она, конечно, потеряла, и на следующую осень пришлось новый делать, а для лучшего бережения знак висел на стене на видном месте — и никто не мог догадаться, что это

означает: висит, а не известно что, а Ляляшка помалкивает.

После постановки «Иуды» знаками были награждены Ф. Ф. Комиссаржевский, Зонов и Сахновский. Понемногу вырабатывалась и «конституция» обезвельволнала — главным советчиком был обезьяний «кодификатор» проф. уголовного права М. М. Исасев и археолог И. А. Рязановский — князя обезьяны.

И когда я сказал В. В. Розанову, что он награждается обезьяньим знаком и возводится в старейшие кавалеры обезвельволнала, Розанов сразу ничего не понял, ошеломился, а потом спросил:

— А кто еще старейший там у тебя в палатке?

В. В. сказал не в «палате», а в «палатке», как говорила и Ляляшка.

— Гершензон старейший, Шестов...

Я хотел было еще сказать, что и Иванов-Разумник, Лундберг и Балтрушайтис, но побоялся сразу вводить во все обезьяньи тайны:

«обезвельволнал есть общество тайное!»

Гершензон и Шестов произвели огромное впечатление.

— Старейший кавалер, — соображал что-то В. В., — и никогда ни выше, ни ниже?

— Никогда. Так и останетесь старейшим на вечно.

— Это мы в роде как митрофорные попы? — обрадовался В. В., — согласен! Стало быть, я старейший кавалер.

— И великий фаллофор обезвельволнала.

— А Шестова сделаем, это по его части, винодаром!

' * '

В конце лета 15 года как то встретились мы в «Льюморье»

Я сказал В. В., что С. П. нездорова. И мы поехали вместе к нам на Таврическую.

В. В. был чего-то очень взбудоражен.

В трамвае, не обращая внимания на соседей, он ругательски ругал «войну»

— ослы, дураки, петодяи.

Такое пересыпалось и имянно и вообще.

Чтобы немного утихомирить, я перевел разговор на обезьянью палату.

Я рассказал ему о семи князьях обезьяньих и о «мощах обезьяньих», которые представлены в лице И. А. Рязановского, и о П. Е. Щеголеве, старейшем князе, и о гимне обезьяньем.

— Да, я хотел похлопотать за одного человека — так пороженок.

— Кто такой?

— Руманов, — и вдруг В. В. как-то по настоящему, по просительскому наклонился, — нельзя ли ему хоть медаль какую?

Я объяснил В. В., что вообще-то все это зависит от канцелярии, а в канцелярии взяточничество самое зверское надо подать прошение и при этом обезьяний хабар, но что Руманову, в виду его книжных заслуг, можно и так дать.

Так в обезьяньем разговоре и прошла дорога.

Но что особенно умилило В. В., это когда я сказал, что на Москве князем обезьяньим сидит Аркадий Павлович Зонов.

— Аркадий Павлович! — В. В. даже привстал, — удивительно! удачно! сверх божеской меры!

* * *

В 1906 году, после долгого пропада появился в Петербурге А. П. Зонов.

Давнишнее знакомство и верная дружба связывала нас с Зоновым. Я познакомился с ним

когда он и Мейерхольд учились в Филармонии. Я был выслан в Пензу и тайком приехал в Москву — приютил меня Зонов и Мейерхольд. Мейерхольд — пензенский. На лето он приехал в Пензу и с ним Зонов. Играли в Народном Театре. Народный Театр был центром рабочих собраний. Меня выслали в Устьсысольск. Из Устьсысольска мне удалось пробраться в Вологду. А А. Богданов (Малиновский) выдал мне свидетельство о болезни, и губернатор Князев оставил меня в Вологде «под присмотром Н. Е. Щеголева и Б. В. Савинкова». И в Вологду приезжал ко мне и Мейерхольд и Зонов. А когда кончилась ссылка, я поехал в Херсон и поступил в театр к Мейерхольду. Там же был и Зонов. Из Херсона театр перекочевал в Тифлис, но я уж не служил больше.

А теперь Мейерхольд затеял Студию в Москве. Готовилась к постановке «Смерть Тенгизиды» в моем переводе, проверенном Брюсовым и Балтрушайтисом.

По делам этой Студии Зонов и приехал в Петербург. Ну, как было не показать его Розанову после всех наших стипетских разговоров!

* * *

Хочется мне все таки взглянуть на 7 вершкового. В Индии не бывал, надо хоть в плечах посмотреть слонов. Я думаю, особое выражение физиономии: «владею и достигнул меры отпущенного человеку». По моему наимприятнейшая мера 5 вершков, если на столе отмерять и вдуматься, то я думаю это Божеская мера. Таким жена не наиграется, не налюбуется.

Большая мера уже может испугать, смутить, а меньшая не оставит глубокого впечатления. Поэтому может я к Вам зайдю около 12-ти (ночи) или около 10 сегодня или завтра. Пусть благочестие Серафимы Павловны не смутится поздним приходом и я заранее прошу извинения в позднем посещении.

Ваш В. Р.

1906.

* * *

Свидание состоялось.

В нашей теснящей столовой, служившей и местом убежища странникам, на «волжском» с просидкой диване провели мы втроем. я, В. В. и Зонов — много ночных часов, залершись на ключ.

В. В. говорил тихо, почти шопотом: вещи все ведь были деликатные — божественные! — скажешь не так, и можешь принизить и огрубить вещь.

В. В. раскладывал и прикидывал на столе всякие меры.

Зонов отвечал, как на исповеди, и кратко и загадочно по зоновски.

А я около — каюсь! — поджигал бесом, «творя мечты» и распаяя во-ображение.

Но что особенно поразило В. В., это признание Зонова о степени его неутомимости.

— Учитель Полетаев рассказывал, — вспоминая что-то В. В., — Доминик Доминикович..

Нет, ни учитель Полегаев, ни Доминик Домникович такого не знали.

В. В. раз мечтался. Ему уж мерещилось: у нас, где-нибудь на Фонтанке, такой институт, где будут собраны «слоны» со всей России, со всего мира для разведения крепкого и сильного потомства.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Дорогая Серафима Павловна!

Пожалуйста приходите поскорее
мерять кофту.

Ваш искренно В. Розанов.

1906.

* * *

Дорогая Серафима Павловна!

Анна Павловна Философова пере-
слала нам письмо Ветвеницкой, из
которого Вы усмотрите, что Вам
непременно надо лично с ней
познакомиться: иначе ведь та не
будет знать, какое место для Вас
есть подходящее? Ведь заочно
ни на какую должность принять
нельзя, (ее) ведь могут просить за

глухую, слепую, безногую, истеричную, эпилептичку. А когда люди увидят, что просит цветущая женщина с разумом и образованием, непременно дадут место и даже будут Вас искать для места. Напр. попроситесь в (дол) Библиотеку или в надзирательницы для курсов. Идите же, идите, идите, дорогая!!!

Алексею Михайловичу поклон. А какой скромный и прекрасный Вам Аркадий Павлович! Вот и судите «по анекдотам», не взглянув на действительность!!

Ваш В. Розанов.

1906.

* * *

С 5 Рождественской мы переехали на Кавалергардскую в достраивающийся дом Пундика «прошпивать стены».

«Вопросы Жизни» кончились — кончилось печатание моего «Пруда» — кончилось и мое «домовство».

У Парамонова ничего не вышло.

В Контроле тоже.

Ходил еще с письмом А. В. Тырковой на Стремянную — тут и могло бы выйти ехать в Персию на полгода! — да по персидски-то я — это И. Е. Щеголев может.

А о издании книг нечего было и думать.

Лев Шестой, у которого было пять читателей и шестой только наклеивался, влияния никакого не имел; Е. Г. Лундберг — его самого нигде не печатали; В. В. Розанов — —

За меня была Варвара Дмитриевна Розанова. она пять раз прочитала «Пруд»:

— Ничего не понимаю.

Чуть не со слезами говорила она, желая мне добра и только добра.

— Там, Варечка, такое написано, ничего не разберешь: там про хоботы больше! — В. В. подмигивал, толкая под столом меня ногою.

— Про какие про хоботы?

И у С. П. с местом тоже ничего не выходило.

Розановы одно время жили в большой нужде, и они все это понимали, — это когда В. В. в Контроле служил: семья большая, дети, доктору нечего было заплатить и с дворником постоянные недоразумения.

«Перед праздником. — с горечью вспоминала В. Д., — прибегает девочка дворника: если не заплатите за квартиру, дров не принесем! а у нас нет ничего, Вася в Контроле служил».

Розановы принимали самое горячее участие во всех наших мелочах житейских. Была у них дешевая портниха, надо было на зиму теплое, а у С. П. ничего не было. Затеяли ей кофту шить.

Перед Рождеством зашла С. П. к Розановым.

— Вы поедете. — спросил В. В., — к родным...?

— У нас денег нет.

— А сколько же надо?

— Рублей 50.

— Варечка, Варечка, дай 75!

Засуетился В. В. — он всегда суетился, когда что-нибудь такое трудное и надо скорее решить.

С. П. хотела сказать, что как же это так —

— Не смей, не смей говорить ничего! — В. В. не дал слова сказать.

А В. Д. заплакала.

Это большое было личное горе и безвыходное. — и это соединялось с нашим неустройством.

Однажды уж было, — это когда я с театром не поехал и жили мы на Молдованке в Одессе, потом в Киеве на Зверинце, вот тогда до переезда в Петербург...

Я писал, а С. П. по урокам ходила. Мне до сих пор стыдно вспомнить. Эти мои писания, ей Богу же, не стоят того труда ее, и при каких условиях!

И теперь С. П. в гимназии достала уроки — в образцовой!

А я писал.

Я писал после «Пруда» и «Часов» — «Посолонь»

Раз встречаю на Николаевском вокзале Леонида Семенова, он в то время из эсеров толстовцем сделался.

-- Ну что, — говорит, — вы все еще козявками занимаетесь? -- и посмотрел на меня с жалостью.

Я это понимал, и в ту минуту еще больше.

И это как пьянице скажут так --

Но что поделаешь, я не мог отказаться и не писать.

Контрольный начальник прав: как нельзя «служить» между делом, так и «писать».

А писать и молиться одно и то же.

Я в церкви раз увидел, как молилась одна женщина, и вдруг понял ведь я тоже молюсь, ей Богу, ну совсем как эта женщина, когда пишу —

«отложив попечение».

Розанов это понял.

Да, когда он в Контроле служил, этого он забыть не мог --

И это понимание Розанова еще теснее связало нас.

Теплота в сердце, тревога за человека, а отсюда внимательность к людям — это редкий дар человеку.

И этот дар был у Розанова

* * *

Достоуважаемые Зверюшки!

Приезжайте: чудный сад! Можете ночевать вдвоем. Гамак. Отличное масло и молоко. Ягоды. Приятное общество. Симпатичнейшие дети.

Ваши Варв. и Вас. Розановы.

Гатчина.

Александровская ул., д. 23.

1908.

* * *

Дорогой Алексей Михайлович! Что Вы мне пишете, как Архиперею в Консисторию: «Глубокоуважаемый!» Разве мы не социал-демократы и не «товарищи»!

Варя очень хочет Вас видеть. Каждый день вспоминает и ждет. Приезжайте —

Гатчина, Александровская ул., д. 23; 20 минут ходу от вокзала. Уху из налимов (живых) любите? Будет! И все будет — только приезжайте. Оба! Ночевать — сколько угодно. Свинье *** напишу. Правда, забылся. Получили ли мою брошюру? Верно — нет: на сей случай шлю следующий экземпляр. Не будьте суровы и мрачны. Пусть Серафима Павловна не мрачинчает. У Вас еще жизнь

долгая и, по дарам — счастливая. Я Широкову недавно говорю: «Его (Ремизова) только никто не понял — это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет: ум, спокойствие, археология + style moderne!» Отвечает: «Вот расширится дело». Ах, дорогой, как хотелось бы Вам помочь: ведь и у меня, как у Варвары Дмитриевны болит по Вас сердце, но от бессилья я ругаюсь.

‘ ‘ приезжайте ‘ ‘

1906.

* * *

«Образцовая» гимназия, где учила С П., оказалась просто мошеннической.

Путанная история, в которой принимал участие и В. В., кончилась, и как всегда в таких случаях: тебя же обманут и тебя же обвинят.

«Просушив стены» у Пундика, перебрались мы в комнату на Загородный, а потом в М. Казачий переулок.

А Розановы переехали со Шпалерной в Б. Казачий по соседству.

Опять по письму Д. В. Философова я ходил в «Гос. Контроль» и на этот раз ничего не вышло.

Р. В. Иванов-Разумник, с которым познакомились о ту пору, достал нам работу: сверять Белинского. Но эта работа скоро кончилась.

Ходили по объявлениям.

И все неудачно.

Случилась в Петербурге перепись автомобилей и собак —

*

Дорогой Алексей Михайлович!

Я думал, что Вы виделись с Гриневич: бывши у нас, она сказала, что у нее есть работа по составлению образцового и руководственного каталога, с объяснениями и наставлениями, по детскому чтению. И что помощь ей в этом составлении может оплачиваться ежемесячным жалованием. Так как это интереснее и литературнее переписи собак, да и вообще дело привлекательное и полезное, то я уверен, Вы его возьмете. Покажите-ка Вы ей образец своего 1) почерка, 2) ума и 3) расторопности, сиречь запросите ее, когда можете ее застать дома — и я уверен (как и уверял уже ее), что она почувствует к Вам вкус. Сама же она — баба умная и летучая — не в смысле мази, а в смысле птицы.

Ваш В. Р.

Серафиме Павловне поклон.

Адрес Веры Степановны Гриневич:
Басков пер д. 38 кв. 8.

А то и так можете прямо часов около 10 утра или 8 дня.

НУМИЗМАТИКА

Новый год наступил.

Луна залила наше окно таким половодьем — в комнате так ясно, что не только деньги считать можно, а и делать.

Я так и сделал.

Я сделал обезьянью монету — львовую:

Löwen — 1 квадрил — Non
аз обезцарь асыка собственнотхвостно
упказ А. Бах-рах.

И все это тончайшей комариной ножкой, как нарезано, от царя Асыки до Бахраха упказа.

Такой монеты. Василий Васильевич, и в вашей чудесной коллекции не было.

И скажу, нигде нет на этом свете.

Вот бы был вам подарок на именины!

Именины ваши, между прочим, теперь не на Василия, а на Геляриуса, я же на Луку угодил и в рюде как из Алексея в Луку обратился.

И куда это вся ваша коллекция девалась — все ваши серебряные, бронзовые и золотые любимцы? Кто на них нынче смотрит, кто трогает?

А теперь я, пожалуй, наострясь на всякой усниной мелочи, я мог бы вам очень точно воспроизвести и самую завитушчатую кривопись и самый замысловатый образ.

А то все собирались, а так и не двинулось дело. Как и с книгой «О любви».

Вы помните эту нашу затею: собрать и иллюстрировать всю мудрую науку, какую у нас на Руси в старые времена няньки да мамки хорошо знали, да невест перед венцом учили, ну и женихов тоже.

Как-то так с годами и забылось, и сами «старейшины» — ни Сомов, ни Бакст, ни Нувель не вспоминали уж за эти годы.

А одному куда мне было!

А главное, надо сурьёзно. Я понимаю, даже благоговейно.

Ей Богу ж, Василий Васильевич, я не так уж озоровал, как вы думали и часто сердились, и чувствую, что такая книга могла бы быть существеннейшей и необходимой в каждой ново-брачной семье.

Да, именины-то ваши на Геляриуса — 14-го!

* * *

Спасибо, добрый Алексей Михайлович, за внимание к моей дряхлости и слабоумию. Никогда не забывайте быть добрым: умирать легче будет!! Расположенность без вывертов «любви к ближнему» — самый дорогой товар на этом и том свете.

А знаете, как всякое семя требует *vilv'ы*, так всякий талант требует «сферы», которая приблизительно и подобно *vilv'ы*, «талантливое упо-

требление себя» похоже и даже есть то же самое, что совокупление, какое любит вся талантливая тварь Божия. Посему возлюбленный мой «охальник» (хотел написать «похабник» — да испугался) — не сделать ли нам кое-чего изумительного, кое-чего не вдруг, но по-маленьку и по-легоньку на счет в самом деле копирования монет? Некоторых, которые не допускают по темноте рисунка фотографирования? «Гм... гм...» Во всяком случае — можно подумать. Безе, безе, безе —

Р о з а н о в.

1906.

СЕАНСЫ

А если подойти к окну, если заглянуть —

там — снег,
все в снегу, на крыше даже свисает —

«Самый холодный у нас месяц, самые сильные морозы. Все покрыто снегом. Глухарь и тетерев держатся въ лесных чащах, там же рябчики и белая куропатка. Серая куропатка большими стаями, медведи в берлогах, у волка и кабана точка...»

Представляю, что испытывает М. М. Пришвин!

Нет, это луна, как снег, а снегу тут нет, снег там в России.

Я это из календаря о волках и снеге — у меня есть и русский календарь с Герценом —

вставай проклятьем заклеянный...

Вторую зиму в Германии — второе Рождество. Под Рождество в кирку ходили. Народу, как на Пасху. Две елки зажжены в церкви. Пение

под орган слушали и проповедь — каждое слово, как вырублено, отчетливо. А в домах елки, видно в окнах, огоньки поблескивают. Такое, как у нас на Пасху, ну, все, конечно, по-немецки:

o, du fröhliche,
o, du solige,
gnadenbringende
Weihnachtszeit!

И Пришвин, поди, не спит, и ему в окно манит — от снега луна еще ярче и льется свет в окно беспокойный.

А он от луны еще звернее, зарос, как леший, — почетный косарь! — а в игтанах два режья колючих еще с лета, как купался.

Вынул бережно свое старое охотничье ружье — поработало на веку! — подул, погладил.

Завтра еще не звонят к ранней у Большого Вознесенья, постучит сосед Лидии, берлинская трубка пыхнет в мороз и пошли —

«Все покрыто снегом. Глухарь и тетерев держатся в лесных чащах, там же рябчики и белая куропатка. Серая куропатка большими стаями, медведи в берлогах, у волка...»

Из всех, ведь, писателей современников — теперь уж можно говорить о нас, как об истории — у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо — теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду — никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере запах слышно, воздух —

вот он какой, ваш ученик Пришвин!

А знаете, Василий Васильевич, как нынче хорошо писать стали молодые, те, что за нами вы их никого не встречали, они начали только в революцию — это как-то Коляда в русской литературе, Weihnachtszeit —

* * *

За все мои литературные годы, а они как го вихрем пронеслись между революциями 1905—1917. из встреч и разговоров я заметил сочлененность именную — парность имен: когда одно произносишь, другое уж на языке, как водород и кислород, как Анаксимен и Анаксимаандр —

Горький — Леонид Андреев,
Блок — Андрей Белый,
Ленин — Троцкий,
Розанов — Шестов,
Гиппиус — Мережковский,
Мережковский — Минский,
Бунин — Куприн,
Эренбург — Вишняк,
Зайцев — Муратов,
Гоц — Зензинов,
Зензинов — Фондаминский,
Бальмонт — Брюсов,
Мартов — Дан,
Булгаков — Бердяев,
Бердяев — Франк,
Аверченко — Теффи,
Шкловский — Jakobson,
Пуни — Богуславская,
Рафалович — Габрилович,
Барладеан — Тер-Полюсьян,
Бахрах — Лурье,
Соломон — Каплун.

— — — — —

А когда я о Пришвине подумаю, лезет в голову Коноплянцев, тоже ученик ваш.

Оказывается, в Ельце в гимназии у вас учились — и Пришвин и Коноплянцев.

* * *

Жили мы по соседству: Розанов в Б. Казачьем переулке, мы — в М. Казачьем; нас разделяли Егоровские бани.

В. В. бывал у нас чуть ли не каждый день.

И всякий раз тайно.

Дома он говорил, что идет в «Новое Время».

Дома он, надо и не надо, говорил, что он на меня сердится и у нас не бывает.

Варвара Дмитриевна очень огорчалась. И не раз днем заходила к нам, стараясь что-то объяснить, чтобы я не сердился на Васю.

У нас была тесная квартира, но и в такой не сразу могли устроиться. драпировки нашлись, карнизов не было. Варвара Дмитриевна прислала «золотые» карнизы и помогала вешать.

Эти карнизы мы перевозили потом с квартиры на квартиру и берегли их, как память, и только зимой 19-го года пришлось расстаться — на плиту пошли!

Тесно у нас было, а всегда народ.

И это испокон веков.

Одно я заметил: в трудные минуты все куда-то пропадали вдруг, и мы оставались вдвоем.

И еще заметил: у нас бывали всегда «начинающие» или такие, у которых не ладилось в жизни, но когда выходили в люди и устраивались, опять понемногу понемногу и пропадали.

На их место приходили другие — народ не переводился.

В Казачьем появился Н. С. Гумилев и некоторое время «до Абиссинии» находился «в рабстве» — в работе: бегал в лавочку за лимоном, бумагой, спичками

Ему это очень нравилось и впоследствии, по его признанию, он в своем цехе и студии проводил эту систему — беспощадно.

О ту же пору Яков Годиин привел А. Н. Толстого. Толстой был с бородой и так хорошо смеялся, сколько лет прошло, а я долго потом, вспоминая, слышал этот смех — —

Пришвин с Кононлянцевым, М. А. Кузмин с С. С. Поздняковым, Гр. П. Новицкий, автор «Необузданные скверны», потом Вас Вас. Каменский, В. Хлебников, с которым слова разбирали.

Это все писатели, а также и не-писателей много перебывало.

Сидели до поздней ночи.

Часто я от гостей уходил в свою комнату и садился заниматься.

И самый поздний звонок полуночный — Василий Васильевич!

* * *

Как-то пришел В. В. необычно в сумерки. Я занимался. Серафимы Павловны не было дома. Ее ждала одна знакомая барышня.

— И я подожду, — сказал В. В., — а ты иди, занимайся.

Барышня интересовалась Розановым. И я пошел в свою комнату: пускай поговорят!

Я задумал тогда «Илью Пророка» — Громовника и сидел над всякими книгами, — работа большая.

И не заметил, как время прошло.

Сорвался на звонок — Серафима Павловна вернулась!

А В. В. уже уходит.

* * *

Посылаю вырезку, руководствуясь правилом: «лучше поздно, чем никогда» —

Поклон С. П. — —

Не буду приходить к Вам на сеансы. Все это моя распущенность, которую нужно воздерживать. Потому бывает на душе не хорошо. Само по себе я ничто в этой области не осуждаю: ни легкое «нравится», ни гяжелое «залез под подол». Но все хорошо в своей обстановке: и вот этого-то у меня и нет. Этот легкий полубман, лукавство, черствость души — ах, как все это производит «душевный насморк». Девушка мне нравится очень. Не как другие. В ней — большое содержание. «Внутренне — дум». Молчалива — это очень хорошо. Человек, а не барышня. А впрочем, верно сделается барышней же, или попадет в больницу, или застрелится. Впрочем, не застрелится, а утонится. Выстрел — это слишком громко, и может испугать мечтательную душу.

Ну, и кроме души, меня взволновала эта волнующаяся под трауром ночь. Какие у нее груди? Очень интересно! А «прочее»? Еще интереснее. Как уже давно никто, она мне не давала покоя в воображении, и я все мысленно продолжал разговор с ней, начатый и неоконченный. В тот день у меня был порыв все сказать ей и о всем спросить у нее. Мы летели точно в вечности. Точно не только не было кругом людей, но они и не рождались, даже не могли бы родиться. Вечное одиночество. Т. е. уединение. Было хо-

рошо. Страшно свободно страшно и мудро.

Мне бы хотелось, чтобы она кое-что узнала (об э) из этого письма. Мне было бы больно, если б она считала меня пошлым. Еще больнее, если бы подумала, что я воспользовался минутой.

Я думаю, что это была именно «минута», «случай», когда все стало страшно свободно. И совсем неожиданно для меня. Ведь я в общем скучный. Меланхолический. А то была «аристократическая» минута. Ведь что такое крылья? Большая свобода. Что такое ангелы? Те, кто свободнее человека. А Бога уж «ничто не ограничивает» — «будемте, яко божи» не значит ли только: «будемте свободны»... как хочется и как воображается.

Ну, довольно философии. Если барышня не застрелится, она будет очень долго и очень скучно жить. То чего ей хочется кушать — она не смеет, а чего ей даст мир — то для нее не будет скучно. При таком расположении мировых карт лучше — застрелиться.

Ну, прощай волк и паук. Не сердись на меня. Я нынче в меланхолии.

Розанов.

Точное изображение барышни:

? — и близко локоть да не укусишь.

? — тоже.

!! и я там был, по усам текло,
в рот не капнуло!!

25. X. 1907.

*

А барышня и не застрелилась и не утопилась.
Барышня вскоре вышла замуж. И жила с мужем
хорошо и ладно.

И хоть ничего особенного такого не произошло
на «сеансе», но и «кое-что» я не мог тогда пере-
дать из письма.

Потом, конечно, все сгладилось и помирилось.

* * *

Пора было вставлять окна.

А как это лучше, мы не знали.

С. П. пошла к Розановым спросить Варвару
Димитриевну.

Все были дома: время завтракать.

В. В., услышав голос С. П., как был в халате,
выскочил в прихожую.

— Я по делу к Варваре Димитриевне.

— Варвара Димитриевна нездорова, у нее
голова болит, нельзя к Варваре Димитриевне!

— Вася, что ты, перестань! — вступилась В. Д.

— Нет, нет, Варвара Димитриевна не может! —
не унимался Розанов и, улучив у себя же минуту,
шелнул С. П.: — не говори ничего про вчерашнее!
— да опять.

— Варвара Димитриевна, — крикнула уж С. П.,
— я хочу спросить, как вставлять рамы?

В. В. уверился — а ведь надо же было вообра-
зить такое, будто пришла С. П. не для чего
другого, как только, чтобы В. Д. рассказать про
«сеансы», надо же такое придумать! — и вдруг
замолчав, убежал переодеваться.

За завтраком все шло мирно.

В. Д. рассказала, как надо вставлять окна — где купить вату и замазку, и сколько на четыре окна замазки и как стаканчики поставить с кислотой, чтобы окно не морозилось.

От окон разговор перешел к стирке и постирушке: стирка — это крупное белье, а постирушка — это платки, салфетки, так мелочь всякая среди недели стирается не прачкой, а прислугой.

С. П. читала стихи Бальмонта:

есть поцелуи, как сны свободные . . .

В. В. был вообще в хорошем расположении: и уверился — и это самое главное! — да и кушанье было по вкусу.

Стихи ему, видно, очень понравились.

Зорко глядя из под очков и нет-нет подмигивая, сучил он правой ногой.

А когда С. П. кончила, он «как полагается», «как нужно» в таких случаях, не глядя, сказал:

— Ну, что это за стихи: все о поцелуях!

— Да, — вспомнила С. П., — мы познакомились с Пришвиным: оказывается, ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии вас козлом называли.

— Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать!

И опять как в прихожей тогда.

— Вася, перестань, — вступилась В. Д., — мало ли что в гимназии! Разве можно сердиться!

Завтрак кончился, сидели так.

В. В. все еще сердился.

— Ну, давай помиримся! — и через стол протянул руку.

— Конечно, Василий Васильевич, ведь не я же вас козлом назвала!

— Как, противный мальчишка, опять! — и руку отдернул.

* * *

Не провокация? Не заговор? Не динамит? Приду — конспиративнейше — или пятницу, но вернее субботу между 2¹/₂— 4 дня.

Vale.

В. Р.

23 сентября 1909.

РОССИЯ

А как это хорошо, что так и остались вы в России.

И я знаю, представься вам случай — нет, вы никогда бы не покинули Россию

А ведь Розанов не только философ «превыше самого Ницше!» Розанов — сотрудник «Нового Времени».

И понятно, какой шкурный мог быть бы соблазн уехать из России.

Ведь, кто же его знает, мало ли какие могли бы быть недоразумения.

Русскому человеку никогда, может быть, так не было необходимо, как в эти вот годы (1917—21) быть в России.

Теперь то, да не то —

Да, много было тягчайшего — и от дури и от дикости, ведь мудровать мог кто угодно! — ведь революция, это не игра, это только в книжках легко читается!

А много было, чего в мир и тишину и в благо-
действие, просто немыслимо, это порыв -- это
напряжение до крайности.

И в беде — великое человеческое сердце —
человек к человеку,
лицом к лицу.

А может, и так, говорю вашим словом, по-
меньше надо обвинять (и жизнь и людей) и
терпеливо нести свой крест — нести бремя
своей судьбы.

Ведь не просто, в самом деле, и мрак жизни
и радость жизни!

В мир пришла тяжелая доля — тягчайшая для
бедноты.

Конечно, всякому хочется, как полегче и
поудобнее устроиться — всякий ищет легкой
жизни — чудак! такой больше нет на всем свете.

На всем свете не легкая доля.

И если не зароят в себе «братское сердце»,
а я верю -- и в самую жесточайшую борьбу я
видел и чувствовал на себе и в себе — человек
с умом и пытливостью победит и самую грозную,
горькую невзгоду, устроит свою жизнь на земле
по своей воле, без подсиживания, хитрости и
злорадства.

И семена нового человека отношения брошены
были как раз в жесточайшую расправу человека
над человеком в эти годы страды — в России.

И именно, потому-то — потому-то и надо было
быть в России.

А кому не пришлось — кто попал в веретено,
закрутило и выбросило, или кто по малодушью
угёк или спасая свою жизнь или спасая добро,
что успел захватить, или по недугу, — сколько
таких несчастных в чужих землях мучается!

Да, как это хорошо, что до последней минуты
Вы остались в России в страде смертельной со
всеми, со всей беднотой, и с «убогими»

* * *

Мы, Василий Васильевич, бесправные тут.

И это тогда еще почувствовал, как из Ямбурга в Нарву попал, на самой границе, когда с нашим красноармейцем мы, русские, простились, а те свои гимн запели

И уж молчок — ни зыкнуть, ни управы искать.

А в карантине сидя, на каторожном то положении, стало мне совсем ясно, а когда из карантина на волю выпустили, не только что ясно, а несомненно

Эх, Василий Васильевич, только обезьянья палата (обезьянья палатка!) уничтожила всякие границы, заставы, пропуска и визы — иди куда хочешь, живи, как знаешь. И как она безгранична, палатка то, границ не имеет, так и значения, увы! никакого в ограниченном мире

С правами, где хочешь, может быть только богатый —

только богатый

Розанов, когда хотел сказать кому самое обидное, он говорил тому человеку:

«Будете богатым!»

Вы понимаете, Василий Васильевич, тут ужасная несправедливость — кит, которого ничем не сдвинешь.

Ну, а если нет ничего, все-таки на своей-то земле как-ни-как — «стихия», стены, родная речь...

Очень люди ожесточились, тесно стало, земля перекраивается. И уж кто уцепился, так зубами и держится и ты там хоть пропадай.

Я понимаю —

И не то страшно, что, вот например, с квартиры тебя выгнали, потому, что ты не валютчик и платить много не можешь, а то страшно, что в

•

сущности-то никому до этого дела нет, — всяк за себя.

Надо помирать, а лучше умереть, тогда, может, и схватятся, а пока еще на задних ногах ходишь, как сказал как-то Пришвин, и как бы там ни жаловался — вот я вам все жалуясь! — все равно, всяк за себя!

Я, Василий Васильевич, на улице тут громко слово боюсь сказать по-русски — бывали досадные недоразумения! — ну и не хочешь, чтобы путаница выпла.

У них у самих бедовая!

И такая есть здесь бедность, ну как у нас. забыть невозможно, так в глазах все вижу — —

А что я сейчас подумал: если бы в-время отправили Блока сюда в санаторию, ну куда-нибудь в Наухейм, — теперь сюда много ездить с разрешения и М. О. Гершензон где-то тут лечится! — возможно, и поправили бы сердце, а главное, вдалеке-то успокоилось бы сердце и поправился бы и, я не сомневаюсь, поехал бы домой

Дом — Россия.

Эта несчастная политика все перекрутила и перепутала. И ведь было такое время — теперь оно, кажется, проходит! — когда здешние про нас, оставшихся в страде — в России, говорили: «продались большевикам!» и это я читал собственными глазами, а у нас, бывало, чуть что, и «продался международному капиталу!»

Какое надо иметь злое воображение и какие нустяки хранить в душе!

А Россия — —

Я Вам лучше из письма прочитаю:

•



« — — начать с того, что нас ели в течение трех лет насекомые всех родов, пришлось внасть в сграшную нищету, в Москве, но дороге из Саратовской в Черниговскую, когда не доезжая до Москвы у нас уже не было хлеба, я по дороге в Третьяковку просила милостыню. В течение года у меня было одно платье, это то, в котором я венчалась. В течение года у меня не было ни одной рубашки и около двух лет я не видела мыла (никакого). Но как это ни странно, я очень мужесгвенно все перенесла: была здорова, сильна и даже весела.

« — — я ведь тоже болела тифом и была стриженная, теперь у меня волосы больше четверти.

« — — Ильюша вот уже скоро 3 недели, как уехал в Петербург, я уже получила от него письмо; он пишет, что второе, но первого я не получала: я его отправила учиться, Н. В. взяла его к себе с тем, чтобы он подготовился и поступил в гимназию. Он очень мало знает, знаний у него за эти 4 года не прибавилось, т. к. я занималась многим, но не учением детей, я много рисовала и зарабатывала им на хлеб и молоко и др. продукты, я даже стала много лучше рисовать. Последние 1½ года много читала.

«Кира очень талантливый мальчик, он хорошо, очень хорошо рисует, мальчик с большой инициативой. Данечка очень веселый и очень любит мамочку, а Васенька очень первный

и желчный и все у него бывает запоем, сегодня он писал запоем, он еще только начинает учиться грамоте.

«Дети (кроме Ильюши) в приюте, им плохо, приходится почти все жалование тратить на прикормку. Одеваюсь я очень бедно: теперь у меня 2 рубахи и 3 ситцевых платья. Если бы ты могла мне прислать на голову платок соответствующий моему возрасту и из белья, если что-либо тебе не так нужно

15. 12. 22.

*

Да ведь это же Россия —

Россия без рубашки, простоволосая, в единственном уцелевшем венчалном платье —

Россия, мать, просившая милостыню —

Россия, у которой подросли дети — которых сберегла она за эту страду в годы повального мора и голода до людоедства.

Да, да, я ничего не понимаю ни в ваших государственных мудростях, ни в вашей политике. и не могу судить и не сужу, но я чувствую. забыто самое главное или перепутано что-то, только не так — — нет, нет, не так с этой кругосветной политикой, с границами, блокадами, пропусками, визами — —

А вот и еще, это из Саратовской:

*

«а не могу ли я вам чемнибудь помочь? Как в Германии дело с хлебом? Я могу прислать муки, даже белой и пшена. Хлеба у нас много, урожай хороший был».

2. 11 22

* * *

А помните, Василий Васильевич, как однажды, в отчаянии С. П. (беспросветно стало — это личное!) решила ехать за границу.

Это, конечно, минута такая была, а в действительности просто не на что было бы нам и ехать. Да слово-то было сказано.

— Как? без России!

•

Дорогая и милая

Серафима Павловна!

Мне как-то очень грустно сделалось при вести, что Вы уезжаете за границу, неизвестно — насколько времени. Грустно и больно. Так я привык к «моей крикухе», ведь «крикуха» то эта была такая «славная» и словно «своя», так я привык к Вам. И что-то грустное с Вами, чего я точно не знаю. Все это ушибло будто меня, и мне непременно захотелось приехать к Вам и сказать что-нибудь, чего может быть сказать не сумею. Словом, назначьте мне день и час и я к Вам приеду. Пожалуйста! Ведь Вы совсем стали нам родная, хоть последнее время и не видел Вас. Вы без хитрости и прямая, и честная и умная: дары не из частных. И не мелкая, не ничтожная. Тоже не часто!

Ну целую горячо Ваши милые руки.
Право, как жаль, как жаль!

Ваш горячо преданный и любящий

В. Розанов.

Б. Казачий, д. 4, кв. 12.

Прийти я могу и вечером, от 10-ти
вечера, и днем от 3—6-ти.

1909.

О П А Л

А. М.

Не сегодня ли условленное у Бенуа собрание для лицезрения опала? Если да, то поедemте вместе. Тогда зайдите. Так как Вы не пишете, то скажите и разъясните посланному.

В. Розанов.

Я думаю выехать часов в 9?

*

Ал. Мих.

Вообразите, сейчас по телефону пригласили меня на ужин — проводы св. Петрова и невозможно отказаться. Я собирался хоть на 1 час поехать к Бенуа, но уж очень измотаешься:

такие расстояния, да и «засидишься» там, «опоздавшь» здесь и вообще чепуха. Поклонитесь им и извинитесь за мое отсутствие.

В. Розанов

С. П. поклон и рукопожатие.

1908.

* * *

Дождик который день по осеннему.

А когда поехали от Бенуа, не надо было и верха подымать — луна и звезды.

Лицезрение Сомовского «Опала», наконец, состоялось.

В. В. был в необыкновенной игре.

И «Опал» и обещание Сомова непременно показать восковой слепок с некоторых вещей Потемкина-Таврического эги вещи» я уже видел и разжигал любопытство В. В.

— Свернувшись лежал, как змей розовый.

— По указу самой Екатерины.

— В особом футляре в Эрмитаже

В игре и в откровенные минуты В. В. говорил «ты», а себя называл Васильем

Но «Опал» расположил к еще большей простоте и безо всяких

— Не Василии Васильевич, а Балда Балдович.

Так я должен был называть В. В.

Разговорчивый, В. В. чередовал разговорами — С. С. Боткин, Бакст, Сомов, Бенуа, Добушинский —

Комната двигалась и все быстрей и быстрей.

Смехом В. Ф. Нувель нырял по углам.

И вот, нахохотавшись и набалдевшись, ехали молча.

Луна выжимала тесную сырую Гороховую; полунощные прохожие поблескивали, и лужи

Черная и глухая Фонтанка серебрилась рыбными садками.

Осенью после дождей ночью, как и весной — эта мокрота, хлюп, вырой воздух, какая-то влажность сквозь звезды.

Трубы Бельгийского завода там — упирались в звезды.

Вылезли в Б. Казачьем переулке.

В. В. пошел меня провожать через дорогу и мы

По середине улицы против Егоровских бань остановились — огромными лупами наставились на нас банные окна.

И вдруг, налегке уж, В. В. заговорил.

Я никогда больше не слышал такого, не видал его таким.

И сам бы он не мог повторить: недосказывая и перебивая себя, захлёб.

Как рукопись, в которой слились все буквы —

Розановская.

Уж баня пропала — ни лун, ни лун И соседнее темное. И только наш край верх залился.

— Так ты все это когда-нибудь и напиши!
«Написать?»

Я сказал:

— Тут надо как-то одним —

— Так ты одним словом, понимаешь?

* * *

и теперь — сегодня удивительный день, прямо весна! — сейчас, в жесточайших днях, когда дни не идут, а рвутся с мясом, когда человек плечо к-плечу прёт на человека — еда поедом! —

ополоумели вы что ли? — когда на земле стало тесно, бедно, безрадостно — жалобы все глушат и мера мира не радость, а как-нибудь! — несчастная тупая скотина с черствой коркой вместо сердца и камнем вместо хлеба, с таким узким полем около своего носа, таким маленьким миром, не протянувшая никому руки вот — никогда не улыбнувшаяся ни на что, несчастная, ведь нет несчастнее нечеловека в человеке, которому весь мир и враг — одно! и какая скука! сейчас, сию минуту, вдохнув весенний воздух и вырвавшись из этой нечеловеко-человеческой застрявы, продираюсь через годы — а всего-то 15 лет! 15 лет? — через революцию, где год за сто лет, и через войну — бесконечную! —

ночь, бани,
луны — луны,
лужи,
влажность сквозь звезды —
— Василий Васильевич!

влажность сквозьзвездья, живая влага, Фалесова hugon, мировая «улива», пачаю и происхождение вещей, движущаяся, живая, огненная, остервенелая, высь скоры, высь быстри, высь бѣга, жгучая, льнущая —

я скажу —
на обезьяньем языке словом — одним
словом:

кук — ха —
кук — ха!

кукха, проникающая мир сквозь звезды, устойчивая подзвездья, сама живая жизнь, живчик, семя, выросшее и в бутылку и в козявку 3 1/2 миллиона в Лондонском музее всяких разных

козявок, смотрите! — и в человека с беспокойной,
как сама кукла, мыслью от Фалеса до —
кукла, проникающая в куклу,
самопознающая!
кукла, вырывающаяся из себя —
хочу знать само!
кукла, где все —
одно сердце,
одна жизнь,
букашки, козявки, таракашки,
слоны,
медведи,
коровы,
люди —
вырастающая человеком
в самочеловека —
в пирамиду
В. В.
Розан-
ов.

УБОГИЕ

Серафима Павловна всегда считалась «ученицей» Д. Д. Бурлюка.

С Бурлюками знакомство у нас старинное: мы жили с ними под одним кровом, и с Людмилой Д. Бурлюк Кузнецовой у С. П. многолетняя дружба.

Я же как-то не подходил ни к кому и рисовал под всех и одно время, в шутку, конечно, называл себя учеником Судейкина.

И я и С. П., оба мы рисовать не учились.

И разница была в том, что надо было большое упорство, чтобы приневолить рисовать С. П., а меня и неволить нечего: рисовать мне, что гурьбаку рыбу удить, рисовать это моя страсть.

В детстве первые мои опыты: мелом себе на ладонь, а с ладони на спину прохожим.

Отсюда все и пошло.

Конечно, Судейкин тут не при чем.

И скорее всего ученик я Кандинского, и это я понял уже тут в Берлине после лекции Ив. Пуни.

Занимался я «Бесовским Действом»: читал всякие источники и русские и немецкие.

И пришло мне в голову переписать для В. В. Розанова из Киево-Печерского Патерика

житие Моисея Угрина — замечательную историю любви.

Помню, М. А. Кузмин восхищался этой повестью.

Переписывал я ее старательно с завитками и усиками.

И когда все было готово, и, не знаю как, задел я чернильницу, чернила на рукопись, я рукопись отдернул — чернила и разбрызгались.

И вот из этих-то пятен, стрел, серпов и волн вышел рисунок: черти с Бабой-Ягой неслись, за ними нежить, нечисть — взвнв и взихрь бесячий.

Помню, в канун рожденья Варвары Дмитриевны были мы у Мережковских — Мережковские после революции за границу уезжали — были и Розановы.

И вот ровно в полночь я поздравил В. Д. со днем рожденья, а В. В. — подарок: житие Моисея Угрина с бесами.

* * *

Милый Алеша!

Прости за «Убогаго» (в палке): ведь это те «убогие» Киево-Ростова, что сродни «Табаку» — — —

Но без тайного предчувствия я хранил сей лист: срисуй мне на (ново) белую бумагу комбинацию левой стороны и этой: т. е. «мухи», «мурья», «ведьма».

Я издаю: «Когда начальство ушло» (т. е. годы) и там одно слово на листе: Последний отдел будет 1907—1910 (т. е. статьи в революцию написанные).

УВЫ.

На следующем листе:

Что же случилось?

И на третьем — твой божественный рисунок.

И больше ничего, обложка.

Но это в абсолютном секрете и даже от Сим'ы. Симе поклон до пояса или лучше сказать... Не сердись на Василия Беспутного.

В. Розанов.

1910.

*

Милая Серафима Павловна!

«Мудрый Змей» передал мне, что Вас обидело мое письмо к нему, — (и он напрасно показал его Вам). Приношу Вам мое извинение: не хотел Вас огорчить. Он и передал мне мотив Вашего огорчения, очень верный.

Нельзя открывать, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании. Но Алексей Михайлович верно понял мой мотив, не имевший злого намерения. Обоих вас я очень люблю.

Ваш В. Розанов.

1910.

* * *

Книга вышла.

Развернул: — увы! — что же случилось? — и рисунок.

Но это совсем не то, и только зная, можно еще представить, — ничего моего.

Оказывается, «настоящий художник» поправил!

И вышло: Баба-Яга скачет на помеле, а за ней черти с хвостами, рогами, ну, как всегда рисуют, а бесячьего-то взвива, взвихря — чертей-то нет.

Все излицовано и совсем безлично.

А это тоже, как открыть, что должно быть «в тайне и молчании» — и обеззвучить, обескрасить, обескровить.

Розанов это хорошо знал.

И много об этом разговору бывало.

А вот, как и тут «настоящий художник» с моим диким рисунком — —

— Почему заборное слово отвратительно?

— Почему матерная ругань груба?

— Почему уличное приставание неловко и даже больно?

— Почему открытое прикосновение неприятно?

— Почему откровенная обнаженность пугало?

Ну, скажем, матерная, как и всякая ругань, просто как слово — самородно выбившееся, ведь это цельная стопа — стопа-ступ слов, а по звучности, звончей оплеухи, так — прекрасна.

И все прекрасно в своей звезде.

Розанов это очень хорошо понимал.

ЯЗВА

В Казачьем переулке в соседстве с Розановыми начало в делах моих книжных было как будто ладно.

Наступил 1909 г. и все кувырнулось.

Простудился — воспаление легких. (Лечил Н. О. Чигаев).

А выздоровел, написал повесть «Неуёмный бубен», прочитал в «Аполлоне», — не приняли.

Трудно мне было выбиваться в «писатели».

И хоть других уж навастривал (А. Н. Толстого, М. М. Пришвина), а самому приходилось околачиваться в «Скетинг-ринге», во «Всемирной Панораме», да и то стараниями А. И. Котылева, действовавшего в выколачивании авансов не только убеждением, но, как узнал я потом, и мордобоем.

Дело тут не в славе, которую никогда не искал, и не в честолюбии, которого по рождению лишен, дело тут — дела житейские.

И как на грех А. А. Измайлов из побуждений самых высоких, оберегая литературную честь, написал про меня в вечерней Биржовке —

Когда-то в детстве в любительском спектакле в пьесе «Плагиат» играл я плагиатора, и такое совпадение очень меня развеселило.

Я в каком-то прошении — давно уж пишу прошения! — даже подписался «плагиатор» и фамилию.

Да в житейском-то деле оказалось не до шуток: в одну туркнулся редакцию и с солидной рекомендацией (К. И. Чуковский написал) — дело верное, а отказали, в другую пошел — там обещан был аванс 15 р., говорят, впредь до выяснения невозможно.

Пришвин, известный тогда, как географ, своими книгами «В стране пенугаиных птиц» и «За волшебным колобком» (Изд. А. Девриена), только что выступивший «Гуськом» в Аполлоне, писал также в «Русских Ведомостях» и был на счету «уважаемых», Пришвин, как эксперт — большая медаль из Географического Общества, действительный член — этнограф, географ, космограф! — пошел по редакциям с разъяснениями. И его выслушивали — сотрудник «Русских Ведомостей»! — соглашались, обещали напечатать опровержение, но когда он, вздохмаченный, уходил, опускали, не читая, его автограф на память — в корзинку.

А тут еще схватило живот, думал так — бывало недели одним сыром питались! — ан, дело совсем не до сыру: язва желудка.

И потянулись дни, недели, месяцы, год — — Книгу бы издать, чтобы как-нибудь, — ведь со спиртовым компресом дни и ночи, черничный кисель! — написал я во все издательства, какие только знал в Москве и Петербурге.

И до чего все-таки благородно — ответили: от Мусагета (через Андрея Белого) до Сытина (через Руманова) и от Сытина до Вольфа: все отказали.

Помню, Р. В. Иванов-Разумник 3 рубля дал — зелененькую, никогда не забуду.

Это как тогда Розанов —

Тоже никогда не забыть нам.

Был у нас полный дом, редкий вечер, чтобы гостей не было, а тут —

Это беда распугивает.

Но самое тяжкое не язва, а то, что обузой — ведь какое надо терпение и не тому, кто страдает, а кто неотлучно, как ночной огонек в непроходимой ночи; самое тяжкое — совесть жизни такой.

Писали в московских газетах, не помню, не то в «Русском Листке», не то в «Раннем Утре», чтобы «вычеркнуть меня из писателей» — чудачки! да у меня тогда и претензии этой ну писколечко не было — какой я там писатель!

* * *

Редкий день не вспоминаю я милого Алексея Михайловича, — прикованного к своей комнате - темнице, — и его «язву в желудке»... По болезнь эта, я всех расспрашивал, — упорна, но не опасна. Крепитесь! Желаю Вам не страдать...

Жму руку и Вам и Серафиме Павловне.

Не у вас ли Алексей Толстой?

Тогда верните: нужна.

В. Р.

1910.

ЗЕЛЕННЫЕ БЕРЕЗКИ

На жгучем ляписе (прижигания язвы) и обволакивающей овсянке (единственное питание), дважды выйдя на волю — к Аничкову в новгородские Ждани и к Р. В. Иванову-Разумнику на необитаемый остров Вандрок (Аландские острова), написал я «Крестовые сестры».

И к осени мы переехали с Казачьего на Таврическую в достраивающийся дом Хренова «просушивать стены».

С «Крестовых сестер» стал я поправляться. И опять у нас грём и стук — народу труба.

Но этим дело не кончилось.

От просушки ли стен или еще от чего, а просушка только видимое звено, захворал я опять — воспаление легких. (Лечил С. М. Погтенполь.)

И выздоровел.

Но еще впереди за многое предстояло мне ответить или еще многое принять и телом и душой, а для чего, не знаю.



И вовсе не по несуразности или от дури забирались у нас на вокзал за два часа до отхода поезда даже и тогда, когда ввели нумерованные места и плацкарты.

А все это от неуверенности и недоверия.

Здесь, за границей этого раньше не знали — до войны, сейчас другое дело, и нет ничего удивительного, если и тут спозаранку и загодя никогда не мешает.

Также и с почтой.

Перед Пасхой я задумал нарисовать В. В. карточку поздравительную — с яйцами, все, как полагается.

И в Великую среду вместе с дальними письмами опустил и городское поздравительное.

И, как оказалось, перестарался.

Яйца пришли к В. В. в Великий четверг.

* * *

Среда-Четверг Страстной Седмицы.

Во-истину Зеленые березки...

Поздравляю дорогих Алексея Михайловича и Серафиму Павловну с Троицыным Днем!!!

В. Р.

1911.

На визитной карточке:

Василий Васильевич Розанов

Спб. «Новое Время», Москва «Русское Слово»

Спб. Звенигородская, д. 18 кв. 23.

* * *

В. В. Розанов по прежним годам знал, что когда лето приходит, начинаются у нас мытарства — куда деваться?

А познакомилась мы о ту пору с Бородаевскими: Валерьян Валерьянович (поэт) и Маргарита Андреевна. И Розанов был с ними в дружбе. Вот к ним-то в Курскую губ. Розанов и предлагал ехать.

А нам дорога была — в Париж.

*

Très chéris Алексей

Серафима!!

1) Прочтите в и н м а т е л ь н о
письмо Бородаевского.

2) Конечно — согласитесь на его
предложение.

3) Не позже среды уведомите
меня о решении вашем

4) и, приложив обратно его письмо
(и адрес) —

чтобы я мог ему сказать, конечно
да!

Хотелось бы вас повидать.

Ваш В. Розанов.

Звенигородская ул. д. 18 кв. 23.

1911.

ЗАВИТУШКА

Сергей хорош...

Русский человек должен говорить на двух языках:

на языке русском — языке Пушкина
и по-матерному.

В. В. Розанов говорил на русском языке.

С присюком — но не по природе, а по возрасту.

Матерную же речь, как и сквернословие, не употреблял, почитая за великий грех и преступление.

— И это такой же грех, — говорил он, — как всею поминать имя Божие!

П. Е. Щеголев дал мне фотографические снимки с рукописи Кириши Данилова — те места, которые в печатном издании точками обозначены.

Днем зашел В. В.

Жили мы на Песках на 5 ой Рождественской. «Вопросы Жизни» закрылись и я был свободный. После холодной зимы — не столько зимы, сколько квартиры, в которой, по уверению старшего дворника, можно было без рубашки ходить! — с весной я ожил и по немногу писал.

В. В. был по соседству в Басковом переулке у Анны Павловны Философовой с визитом.

Он был праздничный такой, нарядный.

С. П. не было дома.

Я предложил ему кофею. Но кофею остыл, а В. В. любил горячий.

О кофею мы и разговорилсь —

что нужно горячий, а холодного и даром не надо.

— Ну, почитай что-нибудь.

Я прочитал крохотное начало из «Посолони» о монашке, который принес мне веточку — этот полусон-полуявь мою, от которой на сердце горел огонек.

— А ты про зверка еще!

Так называл В. В. «Калечину-Малечину», тоже из «Посолони».

Тут мне в глаза бросились снимки с рукописи.

— Давайте я вам лучше почитаю из Кирши Данилова. И стал читать, что точками - то обозначено —

Сергей хорош...

Конечно, я не мог читать так, как проговорил бы это какой-нибудь сказитель, Рябинин. Я понимаю, такое надо так — скороговоркой, надо — плясать словами.

В. В. очень не понравилось.

— Вот серость-то наша русская: наср... и пёр...! Как это все гадко. Только про это. Да еще — ... в рот! И больше ничего.

Успокоился же В. В. на рукописи:

какой замысловатый почерк, какая цветистость.

— Вот и подите!

Х. (Хобот)

Поздно вечером, как всегда, зашел к нам В. В. Розанов.

Это было зимою в М. Казачьем переулке, где жили мы соседями.

Я завел такой обычай «страха холерного», чтобы всякий, кто приходил к нам, сперва мыл руки, а потом здоровался. И одно время в моей комнате стоял таз и кувшин с водою.

В. В. вымыл руки, поздоровался и сел в уголку к столу под змею — такая страшная игрушка черная белым горошком, впоследствии я подарил ее людоедам из Новой Зеландии, представлявшим в Пассаже всякие дикие пляски.

Посидели молча, покурили.

На столе лежало письмо, из Киева от Льва Шестова.

— Шестов приезжает! — сказал я, — будем ходить стаей по Петербургу. В конке он за всех билеты возьмет, такой у него обычай. Пойдем к Филиппову пирожки есть с грибами. Потом к Доминику — —

— До добра это не доведет, — сказал В. В.

И умилительно вздохнул:

— Давай х. (хоботы) рисовать.

— Ничего не выйдет, Василий Васильевич. Не умею.

— Ну, вот еще не умею! А ты попробуй.

— Да я, Василий Васильевич —

Тут мне вспомнился вдруг Сапунов, его чудные цветы, они особенно тогда были у всех в примете.

— Я, Василий Васильевич, в роде как Сапунов, только лепесток могу.

— Так ты лепесток и нарисуй — такой самый.

Взяли мы по листу бумаги, карандаш — и за рисованье.

У меня как будто что-то выходить стало похуже.

— Дай посмотреть! — нетерпеливо сказал В. В.

У самого у него ничего не выходило — я заглянул — крючек какой-то да шарики.

— Так х. (хоботишко)! — сказал я, — это не настоящий.

И вдруг — ничего не понимаю — В. В. покраснел —

— Как... как ты смеешь так говорить! Ну, разве это не свинство сиволапое? — и передразнил: — х (хоботишко)! Да разве можно произносить такое имя?

— А как же?

В. В. поднялся и вдохновенно и благоговейно, точно возглас какой, произнес имя первое — причинное и корневое:

— Х. (х о б о т).

— Повтори.

Я повторил — — и пропал.

— Ведь это только русские люди! — горячился В. В., — наше исконное свинство. Все огадить, охаять, оплевать —

И я уж молчком продолжал рисовать. Но не из природы анатомической, а из чувства воображения.

Успокоился же В. В. на рисунке:

верно, что-нибудь египетское у меня вышло — невообразимое.

— Чудесно! — сказал В. В., — это настоящее!

И простив мне мое русское произношение — мое невольное охуление вещей божественных, рисунок взял с собой на память.

Извините, с яицами

В Пензе у бабушки Ивановой на Николу зимнего в именины ее внука такой бывал пирог именинный — за два с лишним ссыльных года переменил я в Пензе тринадцать комнат, а нигде такого пирога не пробовал.

Старухи Тяпкины, уж по этой-то части, кажется, первые, ну, а против бабушки Ивановой —

— Ирина Васильевна мастер!

И это не я говорю — мне что понимать! — говорит это Сергей Семенович Расадов, самый знаменитый и первейший актер-трагик не только в Пензе, а и во всей великой хлебной округе, для которого, кажется, на Клещевской и Алиповской мельнице сама мука мололась, сама крупчатка.

— Капуста любит сметану, а масла не спрашивает! — скажет так бабушка Иванова и все вот так, попробуй, узнай секрет.

У бабушки Ивановой на пироге был С. С. Расадов. Был и я — увы, это последний мой пирог:

у бабушки случилось несчастье, летом пропали серебряные ложки и я был обвинен в пропаже этих ложек и уж ход к пирогу мне был закрыт.

За пирогом первый гость Расадов.

Ему и слово: похваливая пирог и умеючи его под'едая — всякое по своему естся! — раз'евшись, рассказывал он всякие кулинарные происшествия за свое долголетнее странствие по театрам.

Рассказал и о каком-то батюшке, который потчует гостей, говаривал:

«Пирог, извините, с яицами».



В самом начале нашего знакомства, еще на Шпалерной, я рассказал В. В. Розанову о бабушке Ивановой, о Расадове — а хорошая фамилия! — о пироге и об этом «извините».

И помню, это его страшно поразило.

— И до чего это верно, — повторял он, — так и вижу.

И на всю жизнь это ему осталось.

Бывало, в воскресенье придет к Розановым какой-нибудь батюшка и начинается разговор за чаем. И, конечно, высоким слогом. А В. В. меня ногой под столом, шепчет:

— Извините, с яицами!

А сам покраснет — губы кусает, чтобы не рассмеяться.

Все батюшки делились у В. В. на Чернышевских-Добролюбовых и на таких — «с яицами».

И «с яицами» ему были ближе.

— Проще и без лукавства.

ПОП ИВАН

В Москве на Воронцовом поле в нашей приходской церкви у Ильи Пророка было два священника:

- старший — Дмитрий Иванович Языков протоиерей, ученый, благочинный и сын у него знаменитый московский доктор; и младший — просто поп Иван, ни отчества, ни фамилии.

Языков — Кустодиеву рисовать: борода белая, в усах с зеленью, золотые очки. В проповедях про Льва Толстого и всегда Анна Каренина, как живая. А служил истово — всякое слово слышию. И с особенным распевом в возгласах — в возгласе на всеобщей:

«Приидите поклонимся...»

и уж Сахаровские мальчишки такую паузу выдержат, дух захватит —

«Благослови душе моя, Господа...»

А в Великую субботу на «Погребении» сам читал над Плащеницей «Иезекиелево чтение». И тоже все на распев особенно —

так в старину знаменную, когда знаменный распев — а идет он от буйвищ и

жальников, от Корины и Усенья! — гремел и перекатывался в сорока-сороках московских, читали так.

И все боялись Языкова пуще огня.

Сурово смотрит из-под очков, не улыбнется.

И, должно быть, ни разу в жизни не улыбнулся, а только служил, обличал, блюл устав церковный.

Исповедывались у него только именитые прихожане, такие, как Найденовы, Прохоровы.

У попа же Ивана, хоть и борода — вся рожа заросла, но ниже кадыка не идет и какая-то черно-серая, немытая, пуклом. И служил поп Иван говорком — ничего не разберешь; самое простое, «Богородицу» и «Отче» не разобрать. Проповедей же не говорил — «потому что не мог», но главное — выпивал:

поп Иван с пьяну плясать любил и где попало, у кабака ли, в ограде ль ильинской, ему все равно, и скачет и пляшет и —

Дьякон тоже был пьющий, запойный.

И как схватятся вместе служить — и смех и грех.

От благочинного старались скрыть. Да как уберечься, когда это у всех на глазах, да и человек на ябеду падок — писали доносы.

И ходили оба: и поп Иван и дьякон под великой грозой —

«погонят в заштат!»

У попа Ивана все исповедались — все простые прихожане. Да и чистая публика скорее пошла бы к нему на исповедь, да только что неудобно.

И вот допился поп Иван — зимой было — простудился и помер.

Был я на похоронах.

Будни, а народу столько, как в Ильин день, когда крестный ход из Кремля в Ильинскую церковь ходит.

И все жалели попа Ивана.

«Такого батюшку больше не нажать!» — говорили.

* * *

Когда я рассказал В. В. о попе Иване для примера:

куда с ним? — ни его к Чернышевскому, ни под «яицы»!

— Это уж блаженные, — сказал В. В., — самое наше, народное.

И это было ему тоже близко.

Только без пьянства; сам он не пил.

— Да, великое это дело — блаженные!

И часто поминал он и не раз писал о священнике Устинском, подлинно блаженном — в войну поминавшем Вильгельма на проскомидии.

— Ну, а что же ты о серебряных ложках: у бабушки пропали!

— А-а! про это я рассказ написал

До пояса

У нас в Казачьем переулке.

Вечером за самоваром В. В. Розанов.

Разговор любовный. О чём — из головы вон. Запомнился конец.

— Вот Варвару Дмитриевну я никогда не обманывал, это единственный человек

— Как же так: вот вы к нам пришли, а В. Д. говорите, в «Новое время» ходите, — это же обман.

— Ну вот еще! Я считаю себя до пояса свободным, а от пояса вниз верен В. Д.

— Бедная Варвара Дмитриевна, как мало ей принадлежит.

— Ты ничего не понимаешь: очень много принадлежит.

— А у вас же был роман с гувернанткой!

— Ну, так что? Я только с грудями делал, больше ничего.

З а с п и н о й

На вечер у Ариадны Владимировны Тырковой перед ее отъездом в провинцию читать лекции или, как сказал В. В. Розанов, «баб подымать», было много гостей.

Все важные государственные люди и политики: Шнигарев, Родичев, Жилкин, Адрианов, Д. Д. Протопопов, Струве.

Был и В. В. Розанов.

В. В. шушукался по углам.

Политические разговоры его совсем не интересовали, его занимало другое. Слушая политического деятеля, в самую решительную минуту его рассказа он тихонечко спрашивал:

может ли он «споситесь» или не может?

А. В. добрый человек — поставила бутылку красного.

Я соблазнял В. В.

Но его никак не возьмешь.

Я же наоборот, вино принимаю и пьяниц люблю, разве что укоризненных и обидчивых... Впрочем, нет, всех.

Но вина никто не пил.

Все ведь трезвенники. И такие виноборы, как Адриаша (С. А. Адрианов), который даже духу переносить его не мог, предпочитая всему пиву или прсто «очищенную».

Я занимался путанницей.

Я показал В. В. на Жилкина, рекомендуя его как Д. Д. Протопопова, а Протопопова показал за И. В. Жилкина.

И В. В. трогал разбойничьи мускулы Жилкина, хваля Протопопова. И хвалил думскую речь Жилкина Протопопову.

Г. В. Вильямс*случайно все раз'яснил.

Но уж было поздно.

— У тебя одни дурачества на уме, все путаешь! -- рассердился было на меня В. В.

Я не оправдывался.

А сели ужинать и В. В. помирился — помирила икра.

Я сказал, как М. А. Кузмин верно определил одну даму, ее восторженно-говорливую суетливость с низкою талией. Будто когда за столом она —

— Она икру мечет.

И хотя этой дамы тут не было, В. В. нет-нет да подталкивал меня ногой, подмигивая:

— Икру мечет!

Очень ему это понравилось.

* * *

Заполночь возвращались втроем на извозчике.

Я на коленях у В. В.

В. В. с одной нашей знакомой.

Дождь. С поднятого верха каплет. И фартук мокрый.

Я долго не мог устроиться. Все ёрзал:

не давлю ли костяшками?

удобно ли?

Но и к дождю и к сиденью привыкнул

Так и ехали.

— Дай посасать палец!
И только от шин по мокрому торцу шлюп.
И встречный плёв колёс.
— Дай посасать палец!
— Я очень брезгливая.
— А разве я поганый?
— Да, нет...
— Дай мне мизинец!

— Не добрая ты. Ну чего тебе стоит!

ЭРОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

В воскресенье я пошел один к В. В. Розанову. С. П. была у Бердяевых и собиралась вместе с Л. Ю. Бердяевой попозже.

Ни Н. П. Ге, ни Е. И. Иванова не было. А обыкновенно в воскресенье они являлись первыми. А может, и были и ушли:

В. Д. — на крестинах,
Александры Михайловны тоже нет,
а В. В. болен.

В халате, с завязанным горлом — вата лезла и к ушам и к носу — самое что ни на есть жалкое и зябкое, а говорил — едва-едва.

Сидел гость — стрютский, такие появлялись иногда у Розановых, в застёгнутом сюртуке, приглаженный, а в выражениях самых почтительнейших.

Видно было, что с первых же слов он надоел В. В.

Я отошел в противоположный конец к полкам и стал перебирать книги.

И вот во время рассказа о какой-то земельной реформе — говорил гость — в прихожей звонок:

Серафима Павловна и Лидия Юдифовна.

— А Варвара Дмитриевна на крестинах! — сказал В. В., и мне показалось, куда чище, чем отвечал надоевшему гостю.

Горло у него действительно болело, но не в такой степени.

Я заметил, что и С. П. и Л. Ю. стоят в нерешительности и не садятся и не уходят.

Да и неудобно сразу уходить, но и оставаться тоже...

У обоих по красной гвоздике.

— А откуда у вас цветы и почему одинаковые?

В. В. сказал это совсем уж чисто.

— Мы поступили в одно общество, — ответила С. П. и живо и твердо.

— В какое?

— В эротическое.

— Мы собственно и приехали, как делегации, просить вас быть почетным членом за ваши большие заслуги в этой области.

— Перестань глупости говорить, я хочу действительным.

И это уж сказал В. В. так, как будто у него никакого и горла не болело.

И вдруг сжался, как пойманный, — и вата еще больше полезла, точно хотела прикрыть все лицо и с очками:

этот гость скучнейший, который почти-
тельнейше слушал!

В. В. засуетился, шаря по столу.

— Знаете, замечательное заседание Государственной Думы, речь Жилкина! — и, сунув гостю «Новое Время», повел его в столовую, — прочитайте, замечательное!

А вернулся один и уж совсем другой: в чорту всякие заседания, и горло — наплевать!

— Ну, рассказывайте, рассказывайте!

— Там три отделения: мужское, женское и смешанное.

— Я в женское.

— Мы не можем. Вы там сами скажете.

— Ну, едемте! едемте!

И В. В. сорвал с шеи повязку.

Лидия Юдифовна и Серафима Павловна пошли в прихожую одеваться.

Я и еще раз однажды увижу В. В. таким —

на любительском спектакле на представлении «Ночных плясок» Ф. К. Сологуба в зале Павловой, когда я поведу его за кулисы, где в тесноте кулисной он может быть подлинно, как «бози», т. е., делать все, как хочется и как воображается.

В. В. все делал с невероятной быстротой: сбросил халат, нашарил воротничек, галстук, манжеты — он ничего не видел, ничего не замечал, все забыл и обо мне и о скучнейшем госте, почтительнейше читавшем в столовой уже читанную (конечно!) газету.

Он весь красный, губы вздрагивали, руки махались, словно на лове.

Ну, вот и готово

Подмигнул кому-то и выскочил в прихожую.

Василий Васильевич, — слышу, — мы вас обманули: никакого общества нет. Мы нарочно пошутили.

— А так вот как!

— — — — —

— За это я вас должен поцеловать.

Они к двери —

и он за ними

Они по лестнице вниз. Розановы жили на самом наверху — нет, он догонит!

На площадке:
— Ну, давай поцелую.
Увернулись и дальше —

и он за ними.

И опять:
— Давай поцелую!
С. П. перегнулась к лифту . .

а там будто В. Д. поднимается.
вернулась!

— Варвара Дмитриевна! — сказала она
крепко, как зазвенела, — мы вас не застали.

И вдруг В. В., ну это мгновенно, ну, как
мыш пысь —

И только слышно, как там, на самом наверху,
дверью хлопнул.

И опять горло и голосу нету и скорей халат
и лечь бы уж —

К и — К и

Странные вещи творятся в мире: дан человеку
язык, ну что бы всем говорить по одинаковому,
а нет, хуже того — одни и те же слова, но на
предметы совсем разные.

И это вовсе не анекдоты из жизни греческой
королевской семьи, это — истинная трагедия
человечества.

По-русски, скажем, к и т — рыба-кит, который
пророка Иону проглотил, а -но-немецки — за-
мазка (der Kitt).

По-русски г и б е л ь — «гибель надежды», по-
немецки — фронтон (der Giebel).

По-русски м о с т, а по-немецки — брюки
(die Brücke).

Про это всякий знает, кто попал в Берлин — Берлин есть город стомостый! — и на Варшавских брюках (Warschauer Brücke) по подземной дороге пересадка.

«Брюки» — это еще туда-сюда и теперь едва ли кого смутит, разве что Ю. И. Айхенвальда, и никакими «невыразимыми» и «продолжениями» нет нужды заменять. Но бывает, что слово невыриличное, а для вещи ходовой. И вот изволь произносить во всеуслышание, как ни в чем не бывало:

наше русское «три» — 1, 2, 3 — по-английски «three!»

А кроме того еще всякие заковырки!

И их надо все усвоить в языке иностранном, чтобы на смех тебя не подняли.

Есть по-немецки глагол «gehen» — ходить, идти.

Помню, в самом начале, когда еще только вывыски разбирать стал — иду по улице и вывыски все по слогам складываю, а что говорят, все сливается или слышится совсем неподходящее, на лекции Штейнера напр. слышалось одно слово: «мейерхольд!» И вот выхожу раз из подземной дороги на Leipzigerplatz, а навстречу знакомый немец, здоровается:

— Wie geht es Ihnen?

— Nach Zimmerstrasse! — отвечаю.

А тот чего-то засмеялся: чего?

После уж я сообразил, что надо было поблагодарить по крайней мере или ответить:

— Добиваюсь права жительства (Aufenthaltsbewilligung) или ищу комнату.

Ведь это все равно, как спросили б:

— Как поживаешь?

А я бы ответил.

— Яблоко.

* * *

В. В. Розанов и писал и много рассказывал о своих «итальянских впечатлениях» — П. П. Муратов, слушайте! — заграничные словесные недоразумения.

Но самое ужасное было с ним во французском отеле ночью.

Ночью схватило у него живот —

«так припёрло, не в ногу!»

Ну, кое-как оделся и в коридор.

И благополучно достиг желаемого места.

— А когда опорожился, тут-то и началось сущее мытарство. Выхожу, темно. Поискал кнопку электричество зажечь, нету. Иду по коридору, шарю. Бросил уж кнопку, хоть бы комнату-то нашу найти! В одну дверь турьнусь, а откуда: «ки - ки»? В другую — «ки - ки»? Только и слышно из всех углов. «Je suis, — говорю, — je suis!»

ЛЕГЕНДА

М. А. Кузмин написал музыку —
хождение Богородицы по мукам.

Сам он и играл на рояли и пел.

Год 1907-ой прошел под знаком этой песни.

Легенда «Хождения» — из Византии не русская, а как пришла в Россию и как полюбилась, стала русской, самой своей, самой исконной —

за великое милосердие великого сердца —
за «непрощаемый грех», который прощается.

Там на Западе Дантово здание сверху и до низу — от ада до рай — рай и навсегда и этот «грех непрощаемый»,

а тут на Востоке это Хождение

Богородица ходит по аду во все тьмы,
огни и морозы и не хочет возвращаться
в рай — хочет мучиться с грешниками
во тьме, во огне, в морозе.

По апокрифу Богородица призывает все силы небесные пророков и апостолов и праведников и просит Бога помиловать грешников. И от-

пускает Бог грешников — дает им отдых от Великого четверга до святыя Пятидесятницы.

Но это еще не все.

Продолжаю апокриф —

может ли великое сердце успокоиться сроком? но и справедливость — кара грешникам за безобразие — не может длиться срок до беспредельности (bis auf weiteres).

И кончается тем, что Богородица отказывается от райского блаженства, уходит из рая и идет мучиться с грешниками — в ад — на землю —

* * *

Я рассказал В. В. Розанову о этой замечательной легенде.

И о Кузmine, какой это удивительный человек: и стихи пишет и музыкант и поэт и Бог знает что —

Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — в вишневой бархатной поддѣвке, а дома у сестры своей Варвары Алексеевны Ауслендер появлялся в парчевой золотой рубахе на выпуск, глаза и без того — у Сомова хорошо это нарисовано! — скосится, ну, конь! а тут еще карандашом слегка, и так смотрит, не то сам фараон Ту-танк-хамен, не то с костра из скитов заволжских, и очень душился розой — от него, как от иконы в праздник.

Я подзадорил В. В.: и Кузмина повидать и пенье его послушать —

хождение Богородицы по мукам.

А все что-то мешало, все откладывалось.
Прошел год и другой —

уж Кузмин давно снял вишневую волшебную поддѣвку, подстригся и не видали его больше в золотой парчевой рубахе на выпуск; были у него редкие книги, старопечатные (Пролог) и рукописные, и знаменные крюки (иоты) — все спустил, все продал, и голос не тот, в «Бродячей собаке» скричал.

Но все равно.

В первое же знакомство у Розановых Кузмин играл на рояли и пел.

В. В., зорко присматриваясь к нему — «легенда!» — слушал единственную легенду, в которой все существо наше, вера русская и такая — другая, не Дантова —

хождение Богородицы по мукам.

— Хорошо, как птичка в лесу!

БЛУДОБОРЕЦ

По весне, как всем известно, в Зоологическом саду зверь на звере сидит — слон на слоне, гиппопотам на гиппопотаме, жираф на жирафе, и всякая птица старается, чтобы потом яиц как можно больше накласть, хоть про яйца и нет пока думы.

И так целый день.

И только под вечер уgomонятся и дрыхнут по клеткам, свернув натрудившийся хвост: в этих делах хвост — все.

Я заметил, чем крупнее зверь, тем он осмотрительнее, мелкий же — глупый, без всякого разбору и сил не рассчитывает.

П. Н. Поталов ходил по весне в Зоологический сад для поднимания, как сам он выражался, потенциальной энергии.

Странный он человек! И зачем ему это поднимание, когда и без того вечная «его» и одна жалоба на обуревание мыслей зоологических.

Вообще П. Н. Поталов странный человек.

Помню, во время войны, уж в конце, когда стало все трудно добывать и всякие кооперативы пооткривались, принес он как-то красного вина и особых гигиенических печений для С. П. по случаю болезни. Мне досталось так с напёрсток

— не пил ничего! — а ему остальное. Так бутылку и прикончили во здравие. И что же вы думаете, на другой день получаю счет —

П. Н. просит уплатить ему за вино и печенье.

Ну, разве не странный?

По счету я заплатил.

А уж в революцию перед отъездом из Петербурга принес он мне воротнички, тоже «в дар». А я уж боюсь, не беру. Воротнички № 47, мне ни к чему, а покупать на запас «для подмазки» денег нет. Долго не решался, а все-таки взял: в дар ведь! И, уж наверняка получил бы счет и большущий, да спас меня его экстренный отъезд.

П. Н. Потапов искони называл себя не Петром Николаевичем, а ласкательно-уничжительно — Петюнькой и не сообразно со своей зоологической конструкцией — воротничек № 47 — а в лад и стать с кротостью своего духа и тоном голоса.

Служил П. Н. в банке.

Днем в банке, вечером карты. А после карт частенько куда-нибудь так с компанией.

П. Н. не пил, чтобы напиться, как другие.

П. Н. по его собственному признанию был большой «ловитель» женщин.

Так время и проходило: служба, карты и т. д.

И вот в один прекрасный день захотелось П. Н. «чистой жизни».

А как стал разбираться и искать замутнения своей жизни:

карты? — нет, в картах дурного ничего не было;

ресторан с музыкой? — тоже.

П. Н., как уж сказано, большой был ловитель женщин, — вот оно где!

Еще в реальном училище П. Н. пристрастился к книге и теперь, когда захотел чистой жизни, снова взялся за книгу: в книге он искал себе указания, как достичь этой чистой жизни —

и сделаться праведником.

Читал он Творения св. отцов.

Читал Бердяева, Мережковского, Гершензона. Бердяев, Мережковский и Гершензон наводили его на соблазнительные мысли, равно и Франк. Книги же Шестова отвлекали.

А как и отчего, понять он никак не мог.

У Шестова, я это давно заметил, всегда был читатель какой-то несуразный, нескладный, «бес-счастный», какие-то искалеченные, или сумасшедшие психиатры. Одно единственное исключение — Семен Владимирович Лурье.

И ничего нет удивительного, если в их число записался и П. Н. Поталов.

Больше же всех полюбился ему Розанов:

— Как раз этого места касается!

Но чем усидчивее он читал книги, тем больше стали приходить всякие нехорошие «нечистые» мысли — и уж ни Творения св. отцов, ни Шестов, ни Розанов не помогали.

Все соблазняло.

Все сосредоточилось на этом месте.

Он как-то уж сам, незаметно для себя, превратился в это место.

— И уж сам не знаю, — говорил П. Н., стервенея, — куда себя девать!

Пробовал он ходить по всяким старцам — с легкой руки Распутика о ту пору развелось их в Петербурге видимо-невидимо — но то ли старцы его не понимали, либо он не понимал старцев, а скорее он не понимал старцев, и все советы их ни к чему были.

Доктор, известный в Петербурге под именем Симбада, из психиатров, и тоже большой «лови-

гэль» и читатель Шестова, когда я рассказал ему историю П. Н., страшно развеселился.

— Чудак! Присылайте ко мне, поправлю: банка вазелину и пускай полегоньку втирает ежедневно. Как рукой! — сам смеется.

А П. Н. испугался:

— Это в роде как само собою.

Нет, он на это не согласен.

Ему надо прямое и верное средство, чтобы вести чистую жизнь и сделаться праведником.

— А впоследствии, — мечтал П. Н., — причислят к лику святых, и мощи.

Вспомнил я, как еще в училище над одним трунили: носил он мешочек с канфорой.

«Притом же, — думаю, — и слово это немецкое: Kampf, kämpfen, Kampfer, что означает боец, борец. К блудоборцу очень подходит».

Я и говорю:

— Петр Николаевич, сшейте вы мешочек. Накласть канфоры и подвязать так — И носите себе тихо и смирно. Помогает.

П. Н. послушал.

Конечно, советчик в таких делах я плохой. Да, конечно, дело ясное, — не так, совсем на оборот. Но уж молчу.

А Петр-то Николаевич уверовал в мое канфорное слово и, хоть पुще мучился — и книга не читалась и сна не знал уж, и все теснит и давит (воротничек № 47!), а мысли печные, как бесы — но мешочек, как «водрузил» себе, так и не снимал и только что в бане, а то и день и ночь носят.

Думал я послать его к Гребенцову — книго-чий! — да раздумался, не стонт Якова Петровича в такое дело путать. И решил: пускай-ка в Комаровку пройдет к князю обезьяньему Рязановскому.

— И. А. Рязановский, — сказал я, — археолог, великий князь обезьяний, носит электрический пояс. Ему и книги в руки. Ступайте

И все бы хорошо вышло — «великий князь! носит электрический пояс!» — да уж и не знаю, к чему это мне пришло в голову: наказал я называть Рязановского не иначе, как «ваше превосходительство».

И все дело испортил.

И. А. Рязановский, до возведения в князя обзьянши, был и судьей и следователем и при губернаторе состоял, но как-то так случилось, за поперечность верно и самоволье, в наградах и чинах его обходили, и за всю свою долгую службу имел он один единственный орден, а чин самый маленький.

Ну, а как П. Н. вошел к нему в его тесное Комаровское древлехранилище, да как стал к каждому слову прибавлять «ваше превосходительство», князя-то и смутил.

Великий князь спутался: тычется, парит по столу — разбирает какую-то старинную затейливую тайнопись! — понять-то уж ничего не может, про какой мешочек и причем канфора.

После сам мне рассказывал.

А уж П. Н. — глаза на лоб.

— Хожу и не знаю, куда себя девать!

Да, вот она, чистая-то жизнь!

А не только чистоты никакой, хуже того — хуже, чем было, когда после карт, после ресторана ехал он с компанией куда-нибудь «окончивать», как сам выражался.

И решил я, как последнее, поведу-ка Петюньку к В. В. Розанову.

А потом думаю, нет, пускай без меня — дело вернее, а от меня — письмо.

И написал рекомендацию.

Все, как есть, и о бесах и о мешочке для праведной жизни и о Шестове, помянул и преподобного Макария, о котором сказано в житии —

«досязаше ему даже до пят»

и как преподобный этим беса утрашил.

* * *

П. Н. сходил в баню, вымылся, вырядился, пригладился — П. Н. носил прическу «бабочкой» — не как-нибудь чтобы, а женихом явиться к В. В. за напутствием.

Накануне он зашел показаться.

У нас были гости: б. старообрядческий регент Ив. Плат. Пономарьков и писатель В. Н. Гордин. Спорили друг с дружкой о философии долго и путанно, шотом пели хором под аккомпанимент Пономаркова —

Был у Христа младенца сад.

П. Н. пел тенорком и я заметил, что от полноты чувств забирал он чересчур высоко, а выводил особенно нежно и чувствительно.

А что было у Розанова, я не знаю.

Я знаю, П. П. твердо решил во всем открытее. И я ждал с нетерпением, что будет.

* * *

Только через неделю появился у нас П. П. Он чего-то все улыбался. Веселый:

вчера он после долгого перерыва играл в карты, выиграл, поехали в ресторан ужинать...

— А мешочек?

Мешочек на нем, бессеменно

Попрежнему он хочет чистой жизни, чтобы сделаться праведником.

И это одно другому не мешает:

иногда, ну, раз в неделю, он будет играть в карты...

П. Н., рассказывая, все улыбался.

— Ну, а что же Василий Васильевич?

От В. В. он в восторге.

— Внимательнейший человек, вы себе представить не можете. И как разговаривал!

В этот вечер был у нас, кроме П. Н. еще И. А. Рязановский.

Мне что-то нужно было непременно кончить — переписать рассказ или завитушку, не помню. А когда переписываешь, тут-то и приходит всегда соблазн переделать все сызнова.

С. П. не было дома.

И гости до чая уселись в сторонке «не мешать».

Краем уха я все-таки слышал: отдельные слова, спутки слов, узелки слов, усики.

Говорил И. А. Рязановский —

тут все: и иконография и агнография, палеография и историческая география, Ур, Шарпурла, Египет, Китай, китайская революция — любимая тема! — революции за много веков до нашей эры, китайские... потом несколько раз: электричество — пояс электрический!

Тут заговорил П. Н.

И слышу и не слушаю:

— — канфора, канфора, Розанов — —

— — а ты залупи, чего! дурак! А я говорю: Василий Васильевич...

И опять голос Рязановского —

у него кишка вылезает, и как раз в самые неподходящие минуты и

по преимуществу в дамском обществе,
должно быть, для равновесия; и уж он
не может спокойно сидеть, а встает —

— — встает для равновесия...

* * *

Уж и не знаю, сколько прошло, захожу я как-то в книжный магазин «Нового Времени». И вижу В. В. Розанов: книги рассматривает.

Поздаровались, ну, то да сё.

Вытащил он из груди большущий том, перелистывает: исследование какое-то по церковной истории с гравюрами.

— Ну, и глупый же этот твой Потемкин.

— Какой Потемкин?

— Да вот что с мешком-то.

— Потапов!

— Такой редкий дар!

И вдруг В. В. от смеха покранел весь и зажевал губами:

— — мешок-то! ну, и дурак! Это ты его что ли?

— Ну, вот еще! Это от философии.

СНЫ

На нашем зеленом «волжском» диване я нашел такое местечко, если лечь после обеда и угодить в эту ложинку, непременно сон увидишь.

Всякий день я нарочно ложился, а потом записывал.

Вот какая тетрадка!

Понемногу я стал постигать сонную «несообразницу» — стройную по своему и со своей несообразной последовательностью.

Только надо было ничем не смущаться и наловчиться, как оно привиделось, так и рассказывать до «дура» и «бестолочи» — матери и отца всего сущего.

Случалось, в воскресенье у Розановых за самоваром, а то и так около Шервудского Пушкина рассказывал я эти сны, как сказку.

Наострившись на снах, я заметил, что некоторые сказки есть просто-на-просто сны, в которых только не говорится, что «снилось».

Сны я рассказывал всякие.

После уж здесь, встретившись с музыкантом Б. А. Заком — он, тогда еще мальчик, бывал у Розановых по воскресеньям — узнал я, будто эти сказки мои — сны были очень страшные.

А я не помню.

И тетрадь пропала — продана с аукциона с другими нашими вещами (чемодан и корзинка) в Кёнигсберге после войны за 500 М., как вещь подозрительная по порче.

Я помню, как однажды В. В., а это было после двух фельетонов В. П. Буренина в «Н. В.» о моем «Пруде», сказал, наслушавшись этих моих снов:

— Виктор Петрович меня спрашивает: «давно ли ваш Ремизов сидит в сумасшедшем доме?» А ты такое вот напишешь. Это все твой «Табак». И никто ничего не поймет.

— А Шестову, — сказал я, — сны по душе.

— Шестов! — В. В. всегда необыкновенно почтительно отзывался, — ум беспросветный!

И по вере в легенду мою добавил по обыкновению с сокрушением:

— И до чего доводит вино!

УГОЛОК

По русскому обычаю самые настоящие разговоры начинались в прихожей.

Много было слов сказано над калошами.

— Если бы зайцы не были трусливы, они все бы погнбли! — сказал В. В. Розанов уж одетый после многократного «прощайте».

— А человек?

У человека — «как полагается»:

«как полагается», «как принято» чело-
вчье — трусь зайцева.

Но этого тогда не сказано было.

А как раз это-то и имелось в виду.



Человеку «по своей волю» и это «как пла-
гается» — вот уж подлинная чернота — чернила
орешковые — самая черная.

Но как зайцу без труси, так и человеку без
«так полагается» (а это ведь «закон»!) не вы-
бороть жизни.

— В глазах черно! — В. В. приходил издер-
ганный, захлёбывающийся.

И начинались разговоры.

И из всего ясно было, что это «как полагается» давило тяжестью на плечи, а сбросить не было сил и вот —

— В глазах черно.



У В. В. был такой уголок — там в черноте своей он мог скрыться, — церковь.

Не знаю, ходят ли в церковь от восторга, чтобы сказать о своем счастье и удаче. В беде ходят — с просьбой. Еще ходят «как полагается» — «пуговицы чистить».

А то, что В. В. рассказывал, тут совсем другое: тут нет никакой молитвы, никакой просьбы, а так —

— Станешь незаметно...

Однажды я зашел в церковь до всенощной. Служили панихиду, потом молебен.

Служил батюшка, такой — Розановский, «извините, с яицами» — говорком, ничего не поймешь.

И все шло «как полагается».

Но когда после евангелия за возгласом —

мирликийского чудотворца
и всех святых помилует —

батюшка поцеловал евангелие и дал приложиться —какая-то женщина и дети с ней—я почувствовал необыкновенное умиротворение в этом «мирликийского чудотворца», мир и тишину, и понял, чего такое Розанов — «станешь незаметно», когда «в глазах черно».

ПОСЛЕДНЕЕ

Дорогой А. М.!

Д-р А. И. Карпинский сказал мне по телефону, что неудобно посылать самому больному Ключеву подробный диагноз его тяжелой болезни и попросил позволения послать мне. Я вам посылаю.

Отчего с матерью Серафимой не заглянете к нам.

Теперь и монашка Вера у нас гостит. Приходи, брате Алексей.

В. Розанов.

1917 г.

* * *

И опять на Шпалерной. Только не в том доме, где когда-то «семейно» и шумно (качалка с Бердяевым, финик Андрея Белаго) праздновались именины Варвары Дмитриевны.

У Розанова было что-то такое, как это назвать? Над головой — бурный ли приток мыслей, бурно движущийся? И когда он, подложив ногу под ногу и, суча свободной, говорил, это виделось — чувствовалось, точно текло что-то ото лба выше—выше над волосами, и опять и опять, и он как-то краснел весь.

А теперь этой бурности не было, устоялось, — движение равномерно, и совсем белые волосы.

И еще —

Помню, однажды в прихожей — это в Каза-
чем — В. В. показал мне на целый птичник мел-
ких детских калош и подмигнул —

подмига и улыбки, от которой очки по-
тели, тоже не было.

Как отворила Варвара Дмитриевна двери, как
мы вошли, как ждали В. В. — он отдышал — было
что-то торжественное —

торжественное,
прощальное.
прощенное.
последнее свидание.

А ели яичинцу — поминальную.

ЛУНА СВЕТИТ

— — — — —
на мне это не та, ту, золотом расшитую, я тогда же надел и не на эти свои вихры, а на ковылевую.

«Тебе, — говорю, — медведюшка прислал. Будешь беречь?»

И эта тоже красная с кисточкой, вот! — кисточка-то видите? — ночной колпак, по немецки *Schlafmütze*, это немецкое, В. А. Залкинд из Цербста привез — конкректор обезввелволнала, градусник привинчивал, бензин в зажигалку наливает — механик! — редчайшей доброты человек.

Я, Василий Васильевич, каждое теперь доброе слово берегу — хорошие есть люди на свете.

Вон и он то же говорит. Это мой советчик тут, Огневик — *Feuermännchen* — заботится о тепле и свете! — сам к нам пришел, за печкой жил: стали чистить и нашли. Мы с ним и коротаем ночь —

лу-унную!

А в колпаке сижу, потому что голову мыл.

У нас такой дом, чуть не всякую неделю уборная портится, с трубами что-то, и как поправят, все жильцы ванну сейчас же.

Мы тут уж больше года — все на Церковной (Kirchstrasse) в приходе св. Луизы. Первое время, бывало, заблудишься и вдруг глядь, а шпиль эвон — св. Луиза! — выведет к дому.

А теперь погнажи — —

Да, Василий Васильевич, на счет книжек — книжек-то наших до сих пор не издают.

И достать очень трудно. У Веры Васильевны три, а больше не знаю.

И в России достать не легко.

Шкловский страсть как буянит.

А у нас все ваши книжки были, все с надписями. И все пришлось продать — всю библиотеку продали.

Думали, приедем за границу — на первое время будет: передохнуть. Очень я был болен. Вот на лечение, как это все делают приезжающие, в санаторию куда-нибудь. А ничего не вышло. Так и до сих пор. Уехали-то мы в августе, а деньги получились на следующий год в июле, поздно-вато: до июля-то сколько всего было, время-то упущено.

И знай, что так выйдет, лучше б было книжникам раздать.

Уж вы не сердитесь! Я это понимаю: со мной тоже — Блок, как за границу задумал (перед смертью), тоже книги стал продавать, слышу, «Посолонь» продал с автографом.

А Апокалипсис ваш у великого книжника на бережини, вернемся в Россию — память.

А помните, Василий Васильевич, как-то вы сказали, еще в Гатчине, на даче, помню, что рассказов писать вы никак бы не могли.

— Просто не умею!

А вот Шкловский книжку написал «Розанов» и там как раз наоборот: если кто за последнее время написал беллетристическое, так это Розанов — «Уединенное», «Опавшие листья» — ведь это целый роман, новая форма!

— Скажи, пожалуйста.

— С чем вас и поздравляю.

Шкловский это такой, у него — нога: идет и, кажется, такие сапожищи — один мой ученик красноармеец-политрук жаловался, выдали сапоги 3 пуда американские! — у Шкловского нога 3 пуда, может разделать, что хочешь

И вот доказал, а вы горевали.

— Не умею, не умею.

Не умели вы рассказов писать, как это пишется, и слава Богу!

Конечно, пока ходят железные дороги и существуют станции, рассказы будут писать — потребность в «духовной пище».

Ну, а такому, что для вас казалось верх недостижимым —

«в купе, развлялась на диване и т. д.»

такому песенка, кажется, у нас в России спета, разве, что для американцев.

Новая форма!

На меня, Василий Васильевич, такое остервенение находит: будь у меня в эти минуты власть, заставил бы всех естествознанием заниматься, ну хоть бабочек по заборам собирай или червяков сортируй.

Скучища невероятная!

И скажу, ничего не потеряли, что «книгу рассказов» так и не разрезали.

Ей Богу ж, ну какая разница: «В лугах» или «На заборе» или еще как — ?

Удивительная бесцветность и безличность.

А что, Василий Васильевич, теперь вы поняли, что никакой папироски там и не надо?

Я лежал однажды при смерти — это как раз в канун октябрьской революции. — и все забыл: и

папиросы и что тоже «рассказы» пишу, одно я помнил и мучился, что кашлем моим извожу и надрываю душу тому, кто не отлучно при мне, а если бы этот другой исчез, я мучился бы, что надрывал и изводил, и больше ничего.

А что если вообще ничего больше? Темная точка беспамятства — и это есть вечность — ?

Или сначала темная точка, а потом —

Ну как пробуждение — и ничего подобного нашему: и то, да не то, где самое «хочу» по другому и разное по месту жительства в вечности.

А как там на счет сроков в этой вашей — что слышно в вечности?

Или так спрошу вас —

У Гауфа — помните сказки Гауфа? — у Гауфа Агасфер притащился из Китая сюда и вот недалеко от нас, в Тиргартене, у него любопытная встреча. Само собой он озабочен сроком — ведь таскаться из страны в страну, это — ! И после рассказа о житье-бытье единственный его вопрос —

— Скажите, Василий Васильевич, который теперь час у вас там в вечности?

— Вечер?

— Нет еще?

* * *

У Троицы-Сергия под Москвой лежит В. В. Розанов, скончавший срок своей жизни — странствия по земле со Шпалерной на Б. Казачий, с Казачьего на Звенигородскую — и опять на Шпалерную —

23. 1. 1919 г.

в возрасте 63 лет.

1856 1919.

«Кукха», как и «ахру» — слово обезьянье, на обезьяньем языке: ахру — огонь, кукха — влага.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---------------------------|-----|
| Посвящение | 5 |
| К читателю | 9 |
| Колония | 11 |
| Медальон | 16 |
| На блокноте | 19 |
| Обезволволпал | 38 |
| Дела житейские | 44 |
| Нумизматика | 51 |
| Свансы | 54 |
| Россия | 64 |
| Опал | 72 |
| Убогие | 77 |
| Язва | 81 |
| Зеленые березки | 84 |
| Завитушка | 87 |
| Последнее | 120 |